

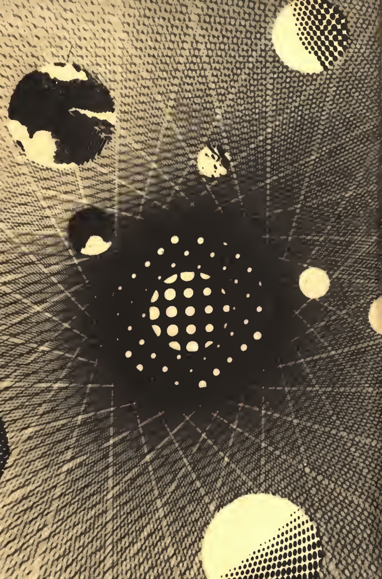
Павел Амнуэль

Сборник
научно-фантастических рассказов

Сегодня завтра и всегда







Павел Амнуэль

Сегодня завтра и всегда

Сборник
научно-фантастических
рассказов

Издательство
Знание
Москва 1984

ББК Р7
А 62

Рецензенты: В. С. Губарев, научный обозреватель газеты «Правда», лауреат Государственной премии СССР; Е. Л. Войскунский, член Союза писателей СССР.

Амнуэль П. Р.

А 62 Сегодня, завтра и всегда. Сборник. — М.: Знание, 1984. — 192 с.

65 к. 300 000 экз.

Научно-фантастические повести и рассказы сборника объединены общей темой — будущие открытия в космосе. Автор — кандидат физико-математических наук, астрофизик по профессии, и поэтому его герои — люди науки: астрономы, космонавты, специалисты по контактам с внеземными цивилизациями, чья жизнь связана с разгадкой тайн Вселенной, поиском новых путей познания.

В книгу наряду с рассказами, ранее публиковавшимися на страницах журналов, включены новые научно-фантастические произведения.

Рассчитана на широкий круг читателей.

А $\frac{4700000000-055}{073(02)-84}$ 69—84

ББК Р7
Р2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научная фантастнка — какой только она не бывает! Фантастнка-предупрежденне, фантастика-прнтча, мечта, антннаучная сказка и ...в полном смысле слова н а у ч н а я фантастнка. Как, напрнмер, в этом сборннке.
Автор П. Р. Амнуэль — ученый-астрофнзик н писатель, хорошо чнтаемый худсжник слова, фантаст. Его пронзведення ждут любнтели научной фантастнки, н он не обманывает наших надежд. Новое тому доказательство — у тебя в руках, чнтатель.
В этом сборнике ты встретишься с мощнымн энергетическнмн станцнямн Землн, нскривляющнмн пространство и время, с жизнью на астероиде, окруженном самовосстанавливающейся оболочкой, сохраняющей атмосферу. Конечно, ты будешь участником установлення контактов в пространстве н временн не только с внеземнымн цнвнлнзациямн, но даже ...с мыслящнмн звездамн и галактикамн. И если ты любнsшь безграничный полет мыслн, то ты быстро, на одном дыхании прочнтаешь этот сборник. Но потом тебе захочется перечнтать его медленно н вдумчнво, поражаясь смелостн н орнгинальностн авторской мыслн н достоверностн, зрнмостн ее выраження.
Фантастика П. Р. Амнуэля, представленная в этом сборнике, — настоящая научная фантастнка для тех, кто ее любнт.

Г. М. Г р е ч к о,
летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза,
доктор физико-математических наук

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА

1

Десятитонный автокран с огромным трудом поднял купол, будто атлет — штангу рекордного веса. Серебристым рыцарским шлемом купол покачался над землей, а потом с глухим стуком, от которого, как показалось Ирине, вздрогнуло здание, прочно встал на башню лабораторного корпуса.

Стоя в тени раскидистого алычового дерева, за подъемом купола наблюдали двое астрономов. Одного Ирина знала, он работал на метровом «шмидте». Другого прежде не видела. Он был высок, даже не столько высок, сколько худ, и глаз невольно превращал недостаток толщины в избыток высоты.

— Я слышала, вы утверждали, что кран не потянет, — сказала Ирина.

— Естественно, — отозвался высокий. — Закон Паркинсона, знаете?

— Вы инженер? — спросила Ирина.

— Берите ниже — простой астроном.

— Как вас зовут, простой астроном?

— Зовите Вадимом, это будет почти правильно.

Вадим повернулся и пошел, не оглядываясь, выставив в стороны острые локти и по-страусиному переставляя ноги. Такой походкой ходил герой первого ее романа о сталеварах «Ночное зарево». Ирине даже почудилось на мгновение, что это он и есть — придуманный ею Антон Афонин.

«Ночное зарево» далось ей трудно. Почти три года ходила она на металлургический комбинат в дневную смену и в ночную. Писала и переписывала. Роман как будто удался, но книжка прошла тихо, и лишь раз в обзоре, опубликованном московской газетой, промелькнула ее фамилия.

После «Ночного зарева» она написала повесть «Странники» — о конструкторах дорожных машин. Ирина надеялась, что ее, наконец, заметят. Заметить-то заметили — местная областная пресса писала о ней как о молодом таланте, но центральная критика молчала.

А однажды — была весна, май — Ирина попала в обсерваторию. Экскурсия от Дома литераторов. В окрестности обсерватории — Ирина и не подозревала, что в сотне километров от города существует такая прелесть, — ее поразили леса и поляны, пропитанные влагой и солнцем, выстланные травой, прошитой удивительно яркими, хотя и мелкими, бисеринками цветов. Ровным рядом стояли коттеджи и, как минареты двадцатого века, блестели купола телескопов.

— Вы когда-нибудь видели небо? — спросили у нее во время экскурсии. Ирина не нашлась, что ответить. Собеседник, конечно, шутил.

— На Земле всего несколько тысяч астрономов, — услышала Ирина, — и только они, да и то не всегда, видят над собой небо. Остальное человечество лишь любуется небом в ясные ночи. А это не одно и то же. Знаете, что говорил Кант? «Есть две вещи, которые можно изучать бесконечно, не уставая и не пресыщаясь. Это звездное небо над нами и нравственный закон в нас».

Все уехали, а Ирина осталась в обсерватории. Решение зрело, и она хотела проверить себя. Ей не повезло — с утра пошел дождь. Он был каким-то негородским, нудным и одновременно веселым. «Как наша жизнь здесь», — сказал ей кто-то. Она подумала тогда, что это может стать названием еще непридуманной и ненаписанной, но уже понравившейся ей повести — «Жизнь как дождь».

Ирина вернулась в город, не приняв окончательного решения, но с исписанным до корки блокнотом. Ночью ей снились звезды-дождинки. С того дня прошло три месяца, и горную тряскую дорогу в обсерваторию Ирина знала теперь наизусть. Была на наблюдениях, следила за работой прибористов, научилась составлять легкие программы для ЭВМ, много читала. Обжила комнату на втором этаже обсерваторской гостиницы, из окна которой был виден полосатый, как арбуз, купол ЗТБ — зеркального телескопа имени Бредихина. Правда, иногда ей хотелось бросить все, уехать отсюда, пойти в театр,

выйти на проспект в новом платье, забежать к подругам, с которыми лет десять назад училась на факультете журналистики. В пасмурные дни, когда уже в шесть становилось темно, подступала тоска, привычная, но во сто крат усиленная близостью гор...

* * *

Ирина не впервые была на наблюдениях. Сидела у пульта, где посветлее, положив блокнот на колени, слушала. Телескоп казался бесконечным, утопающим во мраке, который начинался под самыми звездами и кончался где-то в преисподней. Здесь были два хозяина — мрак и гул. Мрак шел от ночи, куда глядел трехметровый глаз, а гул начинался и исчезал внезапно, когда стальной купол поворачивался, подставляя глазу телескопа смотровую щель.

Наблюдения еще не начались, и под куполом горели четыре яркие лампы. Сменный оператор, почти мальчишка, в этом году пришедший из университета, копался отверткой и щупом тестера в блоке оперативной памяти. Наблюдения вел Вадим — он стоял в люльке у нижнего края трубы телескопа, метрах в трех от пола, и вставлял кассету в зажимы.

Оператор с грохотом задвинул блок на место, погасил боковой свет. Заработали сервомоторы, труба телескопа повернулась. Подошел Вадим, спросил:

— Вам удобно здесь?

Ирина кивнула, и Вадим с минуту молчал, смотрел в черноту, думал о чем-то.

— Скажите, Ирина Васильевна, — спросил он неожиданно, — вы любите фантастику?

— Терпеть не могу, — сказала Ирина.

— Тогда спрошу иначе: не фантастику как литературный жанр, а фантазирование.

— Все равно, Вадим.

— Наверно, вы просто не умеете фантазировать и не читали хорошей фантастики. Но тогда... как же вы пишете?

— Фантастику я читала. Почти всю. Потому и не люблю. Цели у нее грандиозные, а методы несовершенны. Не потому, что писатели плохие. Просто фантастика, которую я могла бы полюбить, — это реалистическая проза будущего тысячелетия. Но даже если вы хорошо

представляете, каким оно будет, все равно ваше описание останется плохим. Вы описываете будущее из прошлого, знаниями прошлого, языком прошлого. О будущем нужно писать языком будущего.

— Вы меня поражаете, — сказал Вадим. — Я и не предполагал такой точки зрения... Дело в том... В общем, я хотел попросить вас прочитать несколько страниц.

— Вы пишете фантастику?

Ирина подумала, что не могла так ошибиться. Вадим показался ей любопытным человеком, но если это всего лишь скрываемая графомания...

— Это не фантастика, — Вадим выглядел совершенно растерянным. — Это скорее... Не знаю... Пожалуйста, не принимайте это за попытку сочинительства, а меня — за графомана...

2

А где-то в это время заходит солнце. Темнеет. Из морозного воздуха, из вечерней дымки рождается тихая мелодия. Она еле слышна. Но она еле слышна везде — у театрального подъезда и на площади. Вечер напевает мелодию — несколько тактов из сегодняшнего спектакля. Я слушаю музыку, пересекая площадь у квадриги Аполлона, я даже поднимаю руку, пытаюсь поймать в ладонь несуществующее. Музыка звучит — по традиции рефрен повторяют десять раз — и все дневное уходит из мыслей. Уходят споры с режиссером, долгие и нудные вокализы, которые я воспринимаю как неизбежное зло, так и не научившись любить их. Уходят часы в холостяцкой квартире — в ней есть все, что мне нужно, и потому кажется, что в комнатах пусто. В них нет чужого: запаха легких духов, уюта, какой-нибудь шкуры лигерийского эвропода, небрежно брошенной на пол. Я уже привык и не чувствую себя одиноким, потому что со мной всегда память о днях, когда мы были вдвоем. Просто я редко вспоминаю — иначе было бы еще труднее...

Когда музыкальный рефрен звучит в десятый раз, я подхожу к двери своей гримерной, открываю ее контрольным словом и смотрю на свои ладони — ладони Риголетто. Или Фигаро. Может быть, Горелова. Иногда Елецкого.

Я начинаю гримироваться и страдаю, потому что в это время герцог Мантуанский соблазняет мою дочь. Или радуюсь, предвкушая победу над злосчастным доктором Бартоло. Может быть, тоскую по далекой и недостижимой Земле, затерянной в космических безднах. А иногда мучаюсь ревностью, потому что графиня Лиза не любит меня...

* * *

Обсерватория стояла на холме, горы, сизые, дымчатые, толпились у горизонта. Единственная дорога во внешний мир, казалось, исчезала в жаркой пелене, не пропетляв и километра.

В лабораторном корпусе было душно и сумрачно — свет проникал в коридор только сквозь матовые стекла десятка дверей. Ирина открывала двери наугад, пока не нашла Вадима в комнате со странной табличкой «...и туманностей». В комнате шел семинар, и Вадим вышел с Ириной в коридор.

— То, что вы мне дали, — сказала Ирина, — не так уж плохо. Во всяком случае, не графомания. Вы пишете?

— Нет, Ирина Васильевна. Я не знаю, что это. Не фантазии и не реальность. Если вы готовы слушать... Просто слушать, не обязательно верить...

Вадим говорил неожиданно тихо, короткими фразами, смотрел напряженно.

— Давайте пойдем в лес, — предложил Вадим. — Душно здесь. И люди... Я всегда ухожу, когда хочу подумать или...

— Пойдемте, — согласилась Ирина.

Тропинка заросла травой, и ее приходилось угадывать. В лесу жара сменилась сырой прохладой. Под ногами пружинили смоченные непросыхающей росой многолетние слежавшиеся слои опавших листьев. Они готовились принять новый слой — на деревьях уже кое-где проступала осенняя золотизна.

Ирина села на пень и улыбнулась Вадиму. Он заговорил, будто всю дорогу от обсерватории обдумывал первую фразу и теперь боялся ее забыть.

* * *

Вадим учился на третьем курсе физфака, когда ему приснился странный сон. Он певец, готовится в своей

гримерной к выходу на сцену. Он гримировался сам, тщательно и медленно накладывая слои приятно пахнущей мази. В зеркале было видно вытянутое лицо, высокие брови, острый, будто клюв, нос. Вадим напевал вслух мелодии из оперы «Трубадур», которая пойдет сегодня в Большом зале.

Вадим пошел на сцену, ощущая на себе тяжесть настоящих металлических лат. На сцене был парк — низко свесились над прозрачным прудом ивы, цвели на клумбах огромные красные гладиолусы, а в глубине кипарисовой аллеи островерхими башенками подпирал звездное небо замок, погруженный во тьму. Он прислонился к шершавому стволу дерева и запел низким, мягким и мощным баритоном, радостно чувствуя, как пружинит выходящий из гортани воздух...

Когда Вадим проснулся, голова была совершенно ясной, будто после глубокого сна без сновидений, и тем не менее он помнил все. Он никогда не занимался музыкой. Родители отдали его в школу с математическим уклоном, и, полюбив точные науки, Вадим считал знание их вполне достаточным. Но в то утро мелодии звучали в памяти, мешая сосредоточиться, — предстоял экзамен по матфизике.

Вадим явился на экзамен, успел сказать несколько слов, объясняя теорему Коши для вычетов, и неожиданно обнаружил, что стоит перед огромным стереоэкраном. Впереди чернота, только яркие звезды полыхали, словно подвешенные на невидимых нитях. В центре экрана угадывалось сиреневое пятнышко. Вадим не чувствовал ни изумления, ни растерянности. Ему было не до того. Экспедиция подходила к цели, и он, Андрей Арсенин, певец, никогда прежде не летавший в космос, должен был принять решение. Звездолет направлялся к Аномалии — пятнышку на стереоэкране. Вероятно, Аномалия была живой, возможно, разумной. Это предстояло выяснить Арсенину, даже не столько познать самому, сколько стать посредником в познании. К чему его в детстве готовил Цесевич по странной, путаной, никем не признаваемой методике, изобретенной им, как говорили, в минуты бреда.

Пятнышко на стереоэкране приблизилось рывком — звездолет совершил очередной импульс-скачок. Анд-

рей — где-то в глубине подсознания он ощущал себя еще и Вадимом Гребницким, студентом-физиком — рассматривал Аномалию, которую раньше много раз видел на фотографиях и в фильмах. Он чувствовал тяжесть ответственности и думал, что Цесевич недобро поступил с ним, обнаружив его странную и уникальную способность. «А где-то в это время заходит солнце, — с тоской подумал он. — Театр серебрится в лучах зари...»

Вадим стоял у стола экзаменатора и договаривал конец фразы. Он сбился и замолчал.

— Что же вы? — спросил Викентий Власович, толстый и добродушный матфизик. — Все верно, продолжайте.

И Вадим продолжил с той фразы, которую не договорил. Он не сразу понял, что полчаса, проведенные им в звездолете, не заняли здесь и мгновения. Испугавшись, он едва дотянул ответ до конца и вылетел из аудитории в смятении духа и с четверкой в зачетке.

Он не забыл ни единой подробности, ни единой мысли, ни единого своего — чужого?! — ощущения. Больше всего его поразили полчаса, вместившиеся в миг. Вместо того чтобы готовиться к экзамену по ядру, он украдкой читал курс психиатрии, но не нашел синдрома, хоть отдаленно напоминающего то, что случилось с ним. Он знал, что здоров, и объяснение (если оно вообще есть) лежит в иной плоскости. Он ждал повторения, завтракая по утрам, сидя в многолюдной тишине студенческой читалки, прогуливаясь вечерами около дома, и особенно нервничал во время экзаменов, будто повторение Странности требовало непременно тех же внешних условий. Из-за этого он едва не завалил ядерную физику и получил первую тройку. Путаница в мыслях нарастала.

* * *

Вадим долго молчал — держал в ладонях солнечный блик, прорвавшийся сквозь крону дерева.

— И больше это не повторялось? — спросила Ирина.

Вадим не ответил, ей показалось, что он оценивает интонацию ее слов. Поверила или нет. Сама она еще не задавала себе такого вопроса. Она просто слушала.

— Не повторялось, — сказал Вадим. Он положил ру-

ку ей на плечо, и Ирина слегка отодвинулась, но движение было таким легким, что Вадим его и не заметил. — Не повторялось, потому что каждый раз было по-иному. Теперь-то я знаю, что это было и что есть. Отчасти объяснил сам, отчасти мне подсказали. Я потому и спросил, любите ли вы фантастику...

— Объясните.

— Не так сразу...

3

Они встречали Новый год — физики с четвертого курса и три девушки с филфака. Вадим слонялся по квартире, пробовал блюда и напитки, встревал в кратковременные диспуты об искусстве, которые мгновенно растворялись в общих фразах и неожиданных анекдотах. Начали бить куранты, все похватали бокалы, сдвинули их над столом в беспорядочном звоне. Вадим считал удары, и после седьмого — это он запомнил точно — оказался в рубке звездолета.

Рядом стояли двое в прилегающих к телу одеждах. Одежда Вадима была такой же — он носил ее с детства, она росла с ним, стоило ли удивляться? В сознании промелькнули мысли еще одного человека — певца Андрея Арсенина. Вадим почувствовал его напряжение, нерешительность, это была минутная нерешительность, и Вадим — или Андрей?! — сказал своим спутникам:

— Я готов.

Оба кивнули. Арсенин (Вадим уже не ощущал собственного я, не мог отделить его от восприятия Андрея Арсенина, певца по профессии, а по призванию — путешественника во времени) занял место в возвращаемом бочонке бота, люки заклеились, высветились индикаторные стены, отовсюду теперь лилось зеленое сияние, приятное для глаз, сигнал порядка по всем системам. У Арсенина оставался еще час времени, и он прислушался к себе, и мысленно поздоровался с собой, точнее, с человеком, вошедшим в его мозг для выполнения эксперимента. Потом он начал вспоминать — это было первым пунктом программы, и Вадим ощущал эти воспоминания, переживал их заново. Уголком сознания он понимал, что ничего из воспоминаний Арсенина не знал и

знать не мог, и все же не изумление перед открывшимся миром владело им, а желание вспомнить больше и четче. Именно вспомнить...

Он вспомнил, как в 2156 году — два года назад — экспедиция к Антаресу прошла около светлого газопылевого комплекса. Аномалию распознали не сразу, лишь спектральные измерения показали, что центральное сгущение туманности — вовсе не обычный газ. Внутри разреженной водородной оболочки скрывалось трудно различимое относительно плотное ядрышко. Удивительно, что спектр этого ядрышка оказался идеальным спектром абсолютно черного тела. Такого в природе еще не встречалось. Как всякая теоретическая абстракция, абсолютно черное тело всегда было невыполнимой идеализацией. В излучении любого природного объекта есть линии элементов, скачки яркости. Природа разнообразна, а черное тело монотонно. Именно такой и была Аномалия.

Экспедиция на Антарес не стала задерживаться, но после ее сообщения с Земли стартовали два поисковых корабля. Они не вернулись. Последним было сообщение, что удалось измерить массу и объем Аномалии. Плотность ее оказалась невелика — обычный разреженный газ. И разведчики решили пройти сквозь Аномалию. Больше сообщений не поступало.

Вся последующая история исследований Аномалии стала историей неудач. В туманность пошли киборги и впервые за сотню лет потерпели поражение. Не вернулся ни один. Близ Аномалии собрали стационарную исследовательскую станцию со сменным экипажем. Аномалию бомбардировали всеми видами излучений, рассеянными и направленными пучками, вплоть до лазерных игл и информационных потоков. И ни разу не удалось получить отраженного или прошедшего сквозь Аномалию сигнала.

Перелом в исследованиях наступил, когда Дарчиев опубликовал работу, в которой доказывал, что Аномалия — искусственно организованный объект. Ход его рассуждений был таким. В природе одинаково невероятно как точное следование одному-единственному закону, так и полное от него отступление. Если вы встретите в космосе явление, которое можно описать одним

и только одним законом физики, такое явление можно считать искусственным. В природе не бывает, например, абсолютно чистых металлов — только с примесями. Так и с Аномалией. Если это искусственное сооружение, то внутренняя его структура может быть какой угодно, возможны любые неожиданности.

Интерес к Аномалии резко возрос. В работу включились контактисты. Тактику изменили: решено было отыскать, выделить и исследовать сигналы, которые должны поступать к Аномалии от создавшей ее цивилизации. Поиск вели несколько месяцев во всех мыслимых диапазонах всеми мыслимыми приемниками — и с нулевым эффектом.

Двухлетие открытия Аномалии отпраздновали на всех базах, а на следующий день произошло странное событие. Одна из грузовых ракет прошла в непосредственной близости от Аномалии и, корректируя курс, «чиркнула» по поверхности черного тела. Ракета исчезла, и диспетчеры, которые видели уже много подобных картин, мысленно с ней распрощались. Но спустя шесть секунд ракета опять появилась в зоне слежения. Двигаясь к базе по инерционной траектории и не реагируя на команды импульсы, она должна была врезаться в посадочный комплекс и смять его. Диспетчерам пришлось решать: уничтожить ракету или попытаться спасти ее с риском для посадочных емкостей. Выбрали второе: машина, вернувшаяся из Аномалии, была ценнее.

Ракету остановили магнитными щупами в нескольких метрах от причального окна. Внешне она не пострадала, но во всех системах была, как оказалось, стерта информация. Лишь в памятных ячейках нескольких микромодулей, вышедших из строя еще в свободном полете, информация сохранилась. Но она, конечно, не имела отношения к Аномалии.

Пожертвовали еще одним автоматом. Его направили по касательной к Аномалии так, чтобы время его пребывания под видимой поверхностью черного тела не превышало трех секунд. Резервные системы блокировали, чтобы они не могли работать при выходе из строя основных.

Все шло по программе. Автомат исчез, появился, и тогда по команде с базы включились резервные системы.

Заработал двигатель, и все увидели, как на месте ракеты полыхнуло пламя. Взрыв разнес машину на обломки, собрать которые было невозможно.

Но за миллисекунды — от включения резерва до взрыва — автомат успел кое-что сообщить. Главное, все основные системы не работали. А в одной из дублирующих цепей вышел из строя датчик топлива. Он перестал регулировать подачу рабочего тела, и двигатель пошел вразнос из-за перенасыщения активными веществами.

Объяснение предложил Снайдерс — один из экологов экспедиции. По его мнению, Аномалия была живым существом и поглощала информацию, преобразуя ее в чистейший первозданный шум. Любой модулированный сигнал оказывался прекрасной пищей для этого космического монстра, но именно поэтому исследования недр Аномалии становились делом совершенно безнадежным.

Изучение Аномалии теперь переходило в ведение Комитета по контактам. Следующий год тоже был годом неудач, но терпела их другая организация. Арсенин знал о поражениях Комитета, но они его, в общем, не интересовали, как и вся проблема. Он жил другой жизнью: вокализы, репетиции, спектакли.

Представитель Комитета отыскал Арсенина в театре. Андрей смывал губкой грим (в тот вечер он пел Валентина в «Фаусте») и слушал невнимательно. Лететь к неведомой Аномалии он не собирался. Это была глупость, в которой он не желал участвовать.

Арсенин провел бессонную ночь и наутро вызвал по стерео председателя Комитета. Хотел сказать одно лишь слово: нет. В кабинете оказалось неожиданно много людей, они будто ждали звонка Арсенина, и он понял тогда, что дело гораздо серьезнее, чем ему представлялось.

— Нужно лететь? — упавшим голосом спросил он.

— Да. Классические методы контакта провалились. Гениев-контактистов, которые могли бы решить проблему интуитивно, в нашем времени просто нет. Ждать, пока они появятся в будущем?.. А отыскать их в прошедших веках можете только вы...

— Я певец, — сказал Арсенин. — Я не ощущаю в се-

бе ничего такого... Это было давно. Да вы и сами никогда не верили в идеи старика...

— Лишь вы, Андрей Сергеевич, — сказал председатель, — можете отыскать человека, способного решить проблему Аномалии. И только вы можете держать с ним постоянную связь.

Арсенин подавленно молчал. Мысленно он уже распрощался со сценой и проклял старика Цесевича за его эксперимент, который, возможно, и не удался, но чтобы в этом убедиться, ему, Арсенину, придется лететь неведомо куда и взваливать на себя ответственность за первый контакт.

* * *

Вадим услышал бой часов, увидел свою руку с бокалом шампанского и понял, что все прожитое им заняло лишь миг обычного времени. Пролетело в сознании нечто, оставив глубокую борозду воспоминаний — не сон, не явь, не жизнь, не галлюцинации. Все уместилось между седьмым и восьмым ударами курантов и осталось в старом году.

* * *

Ирина заглянула на последние страницы. Речь там опять шла об Арсенине — описывалась некая планета Орестея. Возможно, объяснение Странностей где-то в середине, но не искать же наобум! Придется читать с того места, где она остановилась...

* * *

Вадим прекрасно помнил детали. Молчать боялся, но боялся и рассказывать. Он был один на один со Странностями. Все время прислушивался к себе, анализировал ощущения, проверял реакции. К новому семестру он пришел с взвинченными нервами, потому что все время находился в состоянии ожидания.

Прошел почти месяц, прежде чем Странности появились опять. Вадим сидел с приятелями в кино, смотрел мелодраматическую историю сестры Керри и скучал. Произошло совпадение, давшее впоследствии пищу для бесплодных раздумий. Вадим привычно подумал о Странности, и экран исчез, сердце зашлось от страха, но в сле-

дующее мгновение собственные мысли и ощущения пропали — в сознание ворвался певец и контактист Арсенин.

* * *

Ожидание затягивалось. Все понимали: не так-то просто сказать решающее слово. Арсенин чувствовал нетерпение окружающих, но первым правилом, которое вбил в него старик Цесевич, было: не заставляй себя. «Ты уже обучен, — говорил дед, — все, что тебе нужно знать, ты знаешь подсознательно, а все, что ты должен уметь, будет уметь тот человек, с которым ты окажешься связан. Тебе незачем напрягать память, подсознание не выдает знаний по крохам, оно не выдает сведений — оно дает решения».

И Арсенин молчал, хотя знал уже, что нужно делать. Решение проявилось в неожиданном желании, и Арсенин медлил говорить о нем, потому что оно выглядело абсурдным. Но там, внутри его подсознания, примостился студент-физик, гениальный специалист по контактам с другими цивилизациями, и он — самое главное! — внушал Арсенину это бессмысленное на вид желание.

* * *

Вадим вернулся в темный зал кинотеатра и просидел до конца сеанса, закрыв глаза. Он заткнул бы и уши, но на это обратили бы внимание. Он думал о том решении, которое только что подсказал Арсенину. Решении, всплывшем неизвестно из каких глубин подсознания. Нужно просто взорвать Аномалию. Уничтожить. Наверно, это будет красивое зрелище. И тогда все станет ясно. Вадим не мог пока объяснить даже себе, что и почему станет ясно после такого варварского действия. Но о решении, при всей необратимости его последствий, не жалел и, кажется, впервые без затаенного страха ожидал очередной Странности. Было любопытно...

* * *

Пришло серое утро, затянуло небо белесой дымкой, будто природа израсходовала весь запас летних красок и рисовала теперь одними полутонами. Дымка сгущалась туманом, Ирина стояла у окна, приходя в себя пос-

ле бессонной ночи и перемежаемого кошмарами короткого утреннего сна.

Новый рассказ Вадима воспринимался так же, как и прежние — будто сквозь дымку, повисшую в небе. Это, впрочем, Ирину не беспокоило. Она возвращалась в город и опять приезжала в обсерваторию, контуры будущего романа об астрофизиках обрисовывались все четче, с Вадимом Ирина виделась часто и подолгу разговаривала, старалась понять его или хотя бы поверить. Не получалось. В глубине души Ирина не верила ни единой написанной им строчке.

4

Арсенин смотрел на это зрелище с ощущением растерянности и полного хаоса в мыслях. Он вовсе не желал того, что произошло. Так уж получилось... Но так получилось из-за его, Арсенина, самонадеянности и еще из-за этого студента-физика Гребницкого, жившего почти двести лет назад.

Арсенин смотрел на то, что осталось от Аномалии: бурые клочья остывающего газа, в которых было не больше жизни, чем в обыкновенном стуле.

Как же это случилось?

Студент-физик Гребницкий, единственный за сотни лет специалист по контактам с внеземными цивилизациями, найденный в дебрях времени им, Арсениным, этот Гребницкий, притаившийся в мыслях Арсенина, как джинн в бутылке, подсказал нелепое решение — взорвать Аномалию. И его желание стало желанием Арсенина.

Арсенин возвратился изогнутыми коридорами в свою комнату, на ходу рассказывая, что истина контакта найдена и заключается она в уничтожении объекта контакта. Это, может быть, против разума, но ему, Арсенину, все равно, он лишь посредник и не сомневается в том, что все понял правильно. Решение кажется странным. Точнее, идиотским. Придется с этим примириться. Таковы издержки интуитивизма.

Арсенин понимал, что говорить так некорректно. Но у него раскалывалась голова — такого еще никогда не случалось после хроносеанса. Он вернулся к себе, лежал, думал. Мысли были обрывочными. Как тяжелые бревна из воды, всплывали воспоминания детства. Хро-

носеанс еще не закончился, Арсенин чувствовал краем сознания разброд мыслей этого Гребницкого. Арсенин не знал, какая часть его ощущений становится достоянием студента-физика, и во время хроносеанса старался думать четче. А сейчас мысли разбегались. Арсенин вспомнил Цесевича, вечного путаника Цесевича, как его называли. Он тридцать лет проработал в австралийских рудниках, добывая с пятисоткилометровой глубины платину, был прекрасным горным инженером. И все эти годы занимался на досуге проблемой поиска гениев — делом, весьма далеким от его профессии. Он не был дилетантом, удивительно быстро усвоил классические теории, но только для того, чтобы объявить их неверными.

В то время вернулась на Землю Третья звездная и стартовала Четвертая, мальчишки бредили звездолетами и генераторами Кедрина, Арсенин не составлял исключения. Он знал всех в Международном Спейс-центре и старательно пытался постигнуть сложные правила звездной экономики.

Андрей спорил с ребятами на детской площадке у сборной модели звездолета, и дело едва не дошло до рукоприкладства. Цесевич подошел незаметно — коренастый, с палкой-приемником и огромным портфелем — и в двух словах растолковал ситуацию. Жил он в лесном массиве неподалеку от Арсениных, и Андрей увязался за ним в его маленький, на редкость захламленный коттеджик. У Цесевича была огромная борода, из которой он выдирал по волоску, когда какой-нибудь научный противник — а сторонников у него не было — выдвигал очередное возражение против его методов специализации. Сдавать позиции он собирался, лишь полностью лишившись бороды.

— Чего ты хочешь больше всего? — спросил Цесевич Андрея.

— Штурманом на «Зарю», — Андрей не был оригинален, того же хотели еще сотни миллионов мальчишек.

— Ерунда, — объявил Цесевич.

— Почему? — насупился Андрей, абсолютно уверенный в том, что полетит к звездам.

— Да потому, что нет одинаковых людей и одинаковых призваний. Бессмысленно мечтать о том же, что и все.

И семидесятилетний Цесевич изложил семилетнему Арсенину свою жизненную программу. «Допустим, — говорил Цесевич, — что твое призвание в исследовании топологии банаховых пространств. Ты об этом не знаешь, но математика тебя влечет, и ты становишься инженером-дизайнером, потому что сейчас у общества высокая потребность в таких специалистах. В результате мир лишается ученого высочайшего класса. Одно дело — смутно подозревать в себе способности к чему-то, и иное — твердо знать свою дорогу. Гении появлялись в истории человечества не потому, что какие-то комбинации генов вдруг повышали уровень интеллекта значительно выше нормы. Нет, гений появлялся, когда срабатывала теория вероятностей, когда один из многих миллионов людей совершенно точно находил свое призвание. Дело именно в этом. Неправы те, кто объясняет гениальность воспитанием, генной предрасположенностью и даже болезнью.

Иногда удивительные прозрения случаются в середине жизни, когда человек успел уже стать посредственным специалистом. Тогда возникают дикие увлечения, которые кажутся всем бессмысленной тратой времени. Действительно странно, когда зрелый человек, глава семейства, начинает просиживать ночи над трактатами по космологии, не способный бросить свою опостылевшую специальность экономиста, пришитый к ней сложившимся жизненным укладом, многочисленными обязанностями, которые связывают человека с обществом.

Мысль о том, что все люди потенциальные гении, не нова, — говорил Цесевич. — Лет двести назад ее высказал астрофизик Фред Хойл, но современникам она показалась очень уж спорной и была прочно забыта. И возродилась теперь, потому что сейчас мы можем вмешаться в игру случая».

Пропагандировать свои идеи Цесевич начал задолго до рождения Андрея. Ему, конечно, возражали. На Земле и колонизованных планетах живет около двенадцати миллиардов человек. В среднем каждые сто тысяч человек, обладая разными призваниями, вынуждены заниматься одним и тем же делом. Ведь набор профессий, необходимых обществу в данный момент истории, ограничен. И зачем рядовому потребителю знать, что не-

доволен он собой не оттого, что несчастливо женился, не оттого, что не смог попасть на концерт братьев Навахо, а потому, что с самого дня рождения он пошел не по своей дороге...

— Попробуйте распознать, — говорили Цесевичу, — в чем скрытая гениальность любого человека. Вон того. Или этого. Наугад. Вот вам все методы современной медицины, все современные психологические методики — пробуйте.

Андрей не был у Цесевича первым или даже десятым. Класс Цесевича никогда не пустовал, старик был отличным педагогом вне всяких экспериментов — это и спасало его во время многочисленных инспекций. Люди приходили и уходили, ребята подрастали и покидали класс. Гениев не было...

От воспоминаний Арсенина отвлекло появление на пороге Альбера Жиакомо — руководителя экспедиции. «Сам пришел», — не без удовлетворения отметил Арсенин.

— Мы взорвали ее, — сказал Жиакомо.

Они убрали непрозрачность стен. Аномалия исчезла — так показалось Арсенину в первый момент. Потом он разглядел с десяток бурых пятнышек, которые растворялись в темноте неба, будто разум Аномалии погиб, рассеялся. Как это могло произойти?

Арсенин смотрел долго, в голове звучала музыка, пятнышки гипнотизировали его, он знал уже, что должен сказать, но еще не мог выразить словами, потому что Гребницкий, подсказав решение, ускользал, уходил в свое прошлое, сеанс кончался, и Арсенин с трудом улавливал обрывки мыслей.

— Альбер, — сказал он наконец, — думаю, теперь ваши специалисты и сами справятся. Без нас с Гребницким... Контакт уже есть. Поговорите с ними... с этими пятнами... ну хотя бы по-русски. Или по-итальянски. Они поймут. Теперь они все поймут.

5

После взрыва Аномалии его оставили в покое. На время, конечно. Не очень это приятное состояние — все время ждать чего-то. Вадим заканчивал пятый курс и неожиданно понял, что его вовсе не тянет в Институт тех-

нической физики, куда распределяли обычно выпускников его факультета. Но зато он знал в небе одну точку... В созвездии Скорпиона, в его хвосте, неподалеку от оранжевой искры Антареса. Он «вычитал» эту точку в мыслях Арсенина и знал, что именно в этом направлении, в трех световых годах от Солнца находится Аномалия. Туманность, которая ждет, когда ее уничтожат.

Вадим разгадал ее загадку не то чтобы легко, но естественно. А когда Арсенин откопал решение в его мыслях и немедленно, даже не подумав, сказал о нем, Вадим испугался. Отменить он ничего не мог, оставалось лишь наблюдать глазами этого певца, а когда сеанс закончился, Вадим попытался понять то, что родилось интуитивно, вроде бы само по себе.

Аномалия — мать цивилизаций. Тот случай в формальной логике, когда часть больше целого. Точнее, когда часть разумнее целого.

Аномалия родилась много сотен миллионов лет назад, когда в газовом облаке в одном из галактических рукавов начался процесс звездообразования. Стянутый канатами магнитных силовых линий газ медленно оседал к плоскости Галактики, распадаясь на сгустки, из которых формировались клокочущие шары звезд.

Один из газовых сгустков оказался аномальным по своему химическому составу. Где-то когда-то вспыхнула Сверхновая, и там, где сжимался в протозвезду шар Аномалии, скопилось много тяжелых элементов. И в недрах Аномалии начали синтезироваться длинные цепочки молекул. Образовались сложные структуры сродни генным.

И тогда единственной функцией Аномалии на многие миллионы лет стало накопление информации. Всякой. Любой. Свет звезд и далекие радиосигналы, пылинки, магнитные поля и рентгеновское излучение, космические лучи и струи межзвездного газа. Все захватывалось и записывалось в квазигенной структуре, а избыток энергии разогревал поверхность, и для тех, кто мог ее видеть, Аномалия выглядела просто слегка нагретым шаром с непрозрачной поверхностью.

Со временем генные молекулы изменились. По сложности они уже не уступали клеткам человеческого мозга, а то и превосходили их. Записанная в них информация

намного превышала все, что узнал о космосе человек. Аномалия стала межзвездной свалкой информации, естественным безмозглым компьютером.

Аномалия ждала. Ждала катаклизма — еще одного взрыва Сверхновой где-нибудь поблизости. Выброшенная взрывом оболочка звезды должна была разорвать, смять непрочный каркас Аномалии. Разделить ее на сгустки и разбросать в пространстве. И сгустки плазмы, получив неожиданную самостоятельность, могли стать разумными. В сущности, как решил Вадим, Аномалия — животное, функция которого заключается в том, чтобы рождать космические цивилизации.

Однажды к Аномалии пришли люди. Новой информации стало сколько угодно. Аномалия все запоминала, никак не проявляя заинтересованности. Люди не понимали ее, потому что привыкли к мысли: часть меньше целого. Одна голова хорошо, а две лучше. Чем больше мозг, тем выше интеллект. Здесь же была противоположная ситуация: Аномалия была совокупностью разумов, но сама как целое разумом не обладала.

Она родилась заново, когда на нее вдруг обрушился шквал энергии, когда ударные волны заплясали в ее газообразных недрах, раздирая ее на части. Аномалия распалась на тысячи сгустков, и в тот же миг каждый из них ощутил себя. Понял, что живет. Увидел мир и звезды. Начал думать.

Вадим не знал, что произошло потом. Наверное, все было в порядке: контакт с «дочерьми» Аномалии наладили без помощи гения-специалиста, и его оставили в покое. И Арсенин вернулся в свой театр, потому что никто не мог отнять у него то, что, как и способность к контакту во времени, было дано ему природой — голос.

Вадим ощущал воспоминания Арсенина. Они вспыхивали неожиданно, как прожектором освещая чужое детство — детство Арсенина. Все, что было связано с Цесевичем, с уральской школой «Зеленая крона», Арсенин, видимо, старательно берег в памяти, это были дорогие ему воспоминания. В мыслях Вадима они возникали окрашенными в яркие радужные тона, будто мультфильм для детей...

* * *

Школа раскинулась огромной дугой в центре лесопарка. Когда-то там мощно и непоколебимо стояли дремучие леса. Когда-то. Для Андрея это было все равно что в юрском периоде. На самом деле прошло не более ста лет с тех пор, как лес вырубили на бумагу. Возникла плешь, по которой гуляли злые ветры, выдувая верхний незащищенный слой почвы. Об этом вовремя подумали и засадили плешь саженцами пихты и сосны. Ровными рядами от горизонта к горизонту. С гравиевыми дорожками, искусственными ручьями и озерами. Прошли десятилетия, и лесопарк приобрел солидность.

Андрей жил на третьем этаже школьного интерната вместе с вечно что-то жующим и, несмотря на это, худым, как щепка, Геркой Азимовым. Учились они у разных преподавателей, но свободное время проводили вдвоем.

— Что ты будешь делать после школы? — спросил Гера в первый вечер после знакомства, когда они, впустив в комнату запах океана и приглушенный грохот горного камнепада (Гера любил создавать такие странные комбинации), повели разговор «за жизнь».

— Не знаю, — признался Андрей. Старик Цесевич успел уже «поработать с материалом», и собственное будущее отныне представлялось Андрею непознаваемым.

— А я давно решил, — похвастался Герка. — Мама с папой инженеры-строители. Я тоже буду. У нас в семье все строители.

— Скучно, — сказал Андрей. — Дед строитель, мать строитель, брат строитель... Конгресс, а не семья.

— Дурак, — обиделся Герка. — Твои-то кто?

— Папа смотритель на Минском нуль-трансе, а мама рекламирует скакунков. Фирма «Движение».

— Ну, — поморщился Гера. — Сейчас все или за чем-то присматривают, чтобы техника не отказала, или что-то рекламируют, чтобы товар не залежался. А сколько инженеров-строителей?

— А может, у тебя призвание к информатике? — резонно возразил Андрей. Первый урок Цесевича он усвоил прочно.

Уснули они под утро, но отношений так и не выяснили.

— Строить, конечно, интересно, — сказал Цесевич, когда Андрей рассказал ему о стычке с Герой, — но интерес еще не определяет призвания. Интерес — сначала. Потом проверка профессиональной пригодности. Тесты особенно трудны в престижных и дефицитных профессиях. Уверен ли Гера, что справится? Нужно тверже отстаивать свои позиции, Андрюша... А теперь давай заниматься.

Они занимались. Вадим, вспоминая эти занятия, содрогался — он не мог подобрать иного слова для своих ощущений. Семилетний Андрей, только что освоивший линейные уравнения, получал задачу, которую нельзя было решить без дифференцирования. И решал. Вызывал на стереоэкран страницы программированных пособий, запоминал все нужное для данной задачи, остального просто не замечал. И к концу урока добирался до дифференциалов. Больше всего Вадима поражало, что новые знания оседали прочно, из обрывков складывалась мозаика науки, собранная собственными руками, собственным мозгом. В семь-то лет.

Самым интересным для Вадима (но не для Андрея) был урок тестов. Цесевич работал по своей, никем не признаваемой методике: тесты были неожиданными, начиная от ползания под столами и кончая сложнейшими упражнениями на реакцию и запоминание.

По вечерам, наигравшись с ребятами в мяч, побегав на стадионе, побывав у родителей в их домике на Иссык-Куле, Андрей устраивал тестовые проверки у себя в комнате, испытывая терпение Геры. Азимов учился по нормальной программе у молодой и энергичной Клавдии Степановны, тесты Цесевича казались ему непроходимой ерундой, которой можно заниматься в детском саду. Тесты и самому Андрею нравились все меньше. Не так уж весело часами чертить на светодоске окружности, причем машина тотчас указывала, насколько эти окружности отличались от идеальных.

Однажды Цесевич начал урок неожиданным вопросом:

— Андрюша, ты видишь во сне рыцарей? В латах и шлемах.

Рыцарей он не видел. Он вообще редко видел сны.

— Дурно, — сказал Цесевич.

В тот вечер учитель пришел к Андрею, когда по стерео показывали «Приключения Когоутека в дебрях Регула-II». Цесевич наступил на ящера, притаившегося среди скал, прошел сквозь самого Когоутека, прищурив глаза от яркого света лазеров, и махнул Андрею рукой: не обращай внимания, поговорим потом. Когда пятнадцатая серия похождений храброго космонавта закончилась, Андрей предложил учителю чаю.

— Нет, спасибо, — сказал Цесевич, — спроси лучше, зачем я пришел. Понимаешь, Андрей, тесты мы закончили.

— Совсем?!

— М-м... Возможно, совсем. Пойдем-ка погуляем по парку.

Был поздний вечер. Низко стояла луна, и кроны сосен протыкали ее насквозь. Среди звезд пробирался маленький серпик базового спутника «Гагарин». Морозище стоял жуткий. Андрей в утепленном костюме и шлеме чувствовал себя неплохо, но его продирал мороз, когда он смотрел на учителя. Цесевич был в пиджачке и с непокрытой головой. Борода его висела сосулькой. «Вот бы так натренироваться», — подумал Андрей.

— Статистики утверждают, — сказал Цесевич, — что один гениальный человек приходится на два миллиарда обычных. Хорош шанс, а? Между тем, если дело в чистом везении, гениев должно быть в тысячи раз больше. Ты можешь сказать, в чем тут дело?

Вопрос был риторическим, и Андрей промолчал.

— Была у меня идея, — сказал Цесевич, — но доказал я ее только сегодня... На Земле сейчас двадцать семь тысяч специальностей по официальному реестру. Но это сегодня, а человечеству уже много тысячелетий, и каждая эпоха требовала своих специфических профессий. И вот я беру случайного человека, определяю его призвание... Вполне может оказаться, что он гениальный полководец. Но полководцев сейчас нет, эта профессия в реестр не включена... Так выпадают очень многие. Они не могут проявить свою гениальность в наши дни. Не вовремя родились. Понимаешь, Андрюша, когда я начинал... Я хотел сделать гениями всех. А теорема эта, будь она неладна, опять ставит одних людей над другими. Умственное неравенство —

его-то я и хотел уничтожить. Не получилось. Понимаешь, о чем я говорю?

— Наверно, я был бы гениальным надсмотрщиком над рабами, — сказал Андрей. — Или центурионом?

— Не знаю, Андрюша. Могу только сказать, что все современные профессии не для тебя. А прошлые... Или будущие? Может, ты не поздно родился, а рано?

— Значит, я могу стать космонавтом? — с надеждой спросил Андрей. — Почему нет? Раз уж не гением...

— Все впереди, — сказал Цесевич. — Есть еще одно обстоятельство. Примерно до семнадцати лет активность мозга немного меняется. Меняются и склонности, и направление гениальности. Мы просто рано начали. Не отчаивайся, Андрей, ты непременно будешь гением.

Из-за этих слов Андрей отчаялся окончательно. Тесты! До семнадцати лет! Сбегу! Завтра же. Сбегу...

Андрей повторял это слово и не слушал учителя. Ему захотелось вдруг запустить огромным снежком в бороду Цесевича и смотреть, как снежинки облепят ее, и борода станет похожа на ель. Андрей подпрыгивал рядом с учителем и тихо смеялся, представляя эту картину.

6

Однажды — это было ранней осенью, лес вокруг школы еще не начал терять летней яркости — Андрей уговорил Герку отправиться после уроков на Иркутскую энергостанцию. Ему хотелось поглядеть на чудеса, которые там происходили. Станция во время работы будто бы искривляла электромагнитные поля. Никто не знал, как она будет выглядеть в следующее мгновение. Андрей видел по стерео, как энергоцентр обратился в стадо динозавров. В официальном сообщении энергетики предположили, что станция искривляет лучи не только в пространстве, но и во времени. Доказать идею не смогли, но других просто не было. После этой передачи реакции Андрея отклонились от нормы, и Цесевич повторил тесты трижды. Впоследствии, зная уже о своем призвании, Андрей решил, что именно тогда учитель начал догадываться. И неожиданная свобода передвижения, и бегство в Иркутск были запланированы и тактично подсказаны Цесевичем.

Они могли отправиться по вне-связи — вошел в кабинку в «Зеленой кроне», вышел в Иркутске — но предпочли винтолет. Медленнее, но зато есть ощущение, что сам управляешь машиной. Андрей сел за штурвал, набрал на пульте координаты. Земля провалилась, и машина тут же заложила крутой вираж.

Лёту было три с половиной часа. Машина выскочила за облака, и земля исчезла; казалось, что они не летят, а мчатся на буере по всхолмленной снежной равнине. Включили стерео — глобальная программа передавала репортаж о проходке штрека к ядру Плутона. Потом — новости. Совет координации утвердил единую программу исследования субкварков. В недрах острова Анжуан найден библиотечный блок столетней давности («Где это Анжуан?» «Не знаю». «Дай на вывод карту». «Вот... в Мозамбикском проливе».)

Вдруг изображение свернулось в трубочку, будто прекратилась подача энергии. Андрей с досадой ударил по кнопке «Контроль», но заметил, что на пульте не светится ни одна шкала, а в висках исчезло покалывание от биотоковой системы управления. И вокруг серая мгла — они снова влезли в облака. Над стеклом кабины безжизненно висели лопасти. Машина шла вниз, планируя на закрылках. У Андрея похолодело в груди. Страх был инстинктивным, Андрей знал, что с ними ничего не может случиться, наверняка их ведут радары, и через пять минут явятся спасатели.

Машина пробила облака, и Андрей подумал, что падать не так уж интересно. Внизу была тайга. Андрей увидел, как округлились глаза у Герки, как задрожали его губы. «Ну, ты, плакса!» — крикнул он и повернул до отказа циферблат часов на запястье. Должна была сработать личная волна тревоги. Он не услышал щелчка и повернул циферблат еще раз. Потом он повернул циферблат на запястье Геры. Потом нажимал подряд все клавиши на пульте, что-то кричал. Очнулся, когда машину тряхнуло, и она надежно встала на три ноги-полоза. Тайга подступила к окнам кабины, совсем рядом что-то шумело, щелкало и ухало.

Андрей откинул колпак и ощутил острые и прелые таежные запахи. Ребята попытались разобраться в обстановке. На борту не действовал ни один прибор.

Андрей не слышал, чтобы прежде случалось такое, но много ли он в принципе слышал в свои десять лет? «Нас начнут искать через час-другой, — подумал он. — Винтолет не придет на станцию, учитель забеспокоится...»

Тьма упала сразу, будто за облаками выключили подсветку. Стало страшно. Они еще не научились усилием воли подавлять эмоции, даже такую простую, как страх, и сидели, прижавшись друг к другу, и думали об одном: их ищут.

Что-то зашевелилось в густой тени, вперед выступила огромная хвостатая кошка со светящимися, будто угли, глазами. Тигр.

Гера коротко взвизгнул, Андрей инстинктивным движением захлопнул колпак кабины. Тень медленно передвигалась внизу, и Андрею почудилось, что она не одна. Он весь дрожал.

Когти зацарапали по обшивке корпуса. Сначала сзади, где не было стекла, а потом над самой головой. Тигр пробовал на прочность основание винта, и на стекле кабины неожиданно появилось что-то длинное и упругое, как силовой кабель. «Хвост», — догадался Андрей. Обшивка затрещала. Машина больше не казалась надежным убежищем. Что стоит зверю задеть лапой сцепку, и колпак откинется... Он представил эту картину и заплакал. «Пусть придет кто-нибудь и поймает эту тварь. Пусть кто-нибудь придет», — молил он.

И кто-то пришел. Андрей ощутил присутствие другого человека. Даже не самого человека, а его мыслей. Вдруг он увидел перед глазами длинную палку с разветвлением на конце. Рогатина. Что-то старинное, исчезнувшее. Андрей никогда не слышал прежде этого слова и мысленно повторил его. Рогатина. Ему представилась осенняя тайга, не здесь, а где-то в течении Уссури. Крючковатые полусгнившие стволы поваленных деревьев, что-то ползет по стволу, рыжее и полосатое. Ползет и неожиданно взвивается в воздух, молнией исчезает в буреломе. Оттуда доносятся рычание, крики и непонятные слова — то ли торжества, то ли боли. Он бросается вперед, в руке эта самая рогатина, на поясе — сеть. В буреломе двое — тигр и человек. Зверь опутан, бьется в сети, как сом или щука, а человек — огромный, рыжий, такой же рыжий, как тигр, — уже

примеряется рогатиной, и он, Андрей, бросается на помощь. Вдвоем, уловив мгновение, они прижимают голову тигра к земле, и Андрей набрасывает на зверя вторую сеть. Теперь — веревки. Тигр спеленут, он, наверно, так и не понял, что с ним случилось, и Андрей весело бьет рыжего по плечу. «Славный зверь, — думает он. — Красивый. За него отвалят хорошие деньги...»

Андрей будто вернулся откуда-то. Сон кончился. Сон или видение? Когти хищника еще царапали по стеклу и Герка вцепился в рукав Андрея мертвой хваткой.

Андрей не успел еще раз испугаться. Когти соскользнули, тигр взревел и с глухим шлепком упал на траву. И тотчас вспыхнули круговые фары, поляна осветилась, и Андрей увидел мелькнувшую тень убегавшего зверя. Под полом тихо загудело, над головой начали медленно раскручиваться винты. Пульт управления ожил.

— Ура! — закричал Герка.

Зазеленел экран, и они увидели Цесевича.

— Андрюша! Все в порядке? Как вы там?

— В порядке, — отозвался Андрей неожиданно охрипшим голосом.

— Через полчаса будете здесь, — продолжал Цесевич. — Не сердись, что так получилось...

— Вы на станции?

— Да, я воспользовался вне-связью. Все хорошо, сынок. Ты можешь ответить на несколько вопросов?

— Сейчас?!

Андрей покорно и старательно ответил на совершенно бессмысленные вопросы («Почему электрон красный?» «Где зимуют пингвины?»). Он уже успокоился, только был немного сердит на учителя за этот спектакль. Машина летела низко над деревьями прямо на окружающее станцию зарево. Винтолет сел у домика технических служб, Андрей вывалился из кабины в объятия учителя и запутался в его бороде.

— Ух ты, Андрюха, — бормотал Цесевич, щекоча его жесткими волосами, — молодец ты какой...

Цесевич так и светился от счастья. Он перевел дух и сказал:

— Все, Андрей. Я говорил, что ты будешь гением. Ты умеешь то, чего, наверно, никто не умеет. А может,

и не умел. Ты гений контакта, Андрей. Но... контакта во времени.

Странно, что Андрей мгновенно понял смысл этих слов. Как потом оказалось, сам Цесевич сначала не поверил решению. Это было причиной тяжелого душевного кризиса. Тесты Андрея вели к полубезумному выводу, и Цесевич нашел лишь один способ убедиться в своей правоте: поставить Андрея в такие условия, когда он не смог бы обойтись без своей подспудной гениальности. Припереть к стене, чтобы речь шла о жизни и смерти. Лишь дважды решился Цесевич на имитацию — была игра, но Андрей-то не подозревал об этом...

* * *

Андрей проснулся оттого, что кровать под ним провалилась, а потом вернулась, больно ударив его по затылку. Он открыл глаза и похолодел — рушились стены, прогибались балки потолка. Стремительное ощущение безотчетного ужаса — и Андрей «провалился».

Он стоял в небольшой комнате с высокими, уходящими в густую черноту стенами. Освещение, создаваемое свечами в прекрасных золотых канделябрах, почти не разгоняло мрака.

— ...Вам не оправдаться, Леонардо! — говорил грузный, небрежно одетый, видимо, только вставший с постели мужчина. Он угрюмо глядел на Андрея — нет, на того, кого он назвал Леонардо и кто молчал не от смущения перед этим уверенным в своей власти правителем, а оттого, что был поражен вторжением в его мысли чужого, непреодолимого и страшного.

— Господин мой и друг, — сказал наконец Леонардо. — Я понимаю и разделяю вашу скорбь, но есть в природе силы, бороться с которыми человеку пока...

— Человеку не дано спорить с богом! — крикнул тот, кого Леонардо назвал своим господином и другом. — Не богохульствуйте, Леонардо! Вилла, которую вы для меня построили, обрушилась, и в том, видимо, воля господа. В соседних домах появились трещины, а ваша вилла... Как мне защитить вас, Леонардо? Я не могу ссориться с кардиналом, а тем более с папой. А они только и ищут повода, вы знаете... Не должен был, нет, не должен был я назначать вас своим архитектором. Мыслимо

ли? Человек не может уметь все, а вы, Леонардо, в своей гордыне возомнили, что всемогущи. Будь вы только ваятелем, как Микеланджело, или живописцем, как Рафаэль, я нашел бы для вас заказы, но...

Повисло молчание, и Андрей почувствовал вдруг ненависть к этому толстому и трусливому, хотя и неглупому человеку, к этому Моро, правителю Миланскому. Сейчас он бросится на толстяка, вцепится ему в бороду — в нем клокотала ярость, которую Андрей не мог ни сравнить с чем-нибудь привычным, ни даже понять, и он испугался. Может, из-за этого, а может, по иной причине, но он вернулся в свой мир и увидел, что стоит босиком у своей кровати и нет никакого землетрясения, а, напротив, у окна мирно посапывает во сне Герка, свесив до пола правую ногу...

* * *

Отпечатался в памяти разговор с учителем, один из многих — им обоим хотелось нащупать суть проблемы. Они лежали на прохладном весеннем песке школьного пляжа, подставив солнцу спины.

— Я ведь нисколько не умнее Геры, — говорил Андрей. — У нас по всем предметам одинаковые результаты. А динамика интеллекта у него выше моей.

— Конечно, ты не умнее Геры. Но ведь и Ньютон в некотором отношении был не умнее какого-нибудь клерка. Я тебе объяснял.

— Знаю. Герка гениален в одном, я — в другом.

— Точно. И разница между вами в том, что ты свое призвание уже знаешь, а Гера — нет. У тебя совершенно уникальное призвание. Ты можешь вступать в мысленный контакт с людьми в других эпохах. И контакт этот не случаен! Когда над тобой рушились стены, ты ведь бросился искать спасения к Леонардо да Винчи — гениальному архитектору. И именно в тот день его жизни, когда обрушился построенный им дом... Ты еще и на сотую долю не научился управлять своим талантом. Ты относишься к нему как к бедствию. Кто скажет, как это у тебя получается? Как можно вообще мысленно бывать в прошлом? Я не представляю. И ты тоже. И никто. Как ты находишь в прошлом именно того человека, который нужен позарез? Я потратил три года, пока не по-

нял твое призвание. А ты делаешь это без тестов, распознавая призвание людей в другом времени. В другом времени! Да еще шутя...

— Ничего себе шутя, — Андрей содрогнулся от воспоминаний.

— Это временное, — отмахнулся учитель. — Все развивается, и ты сам, и медицина. И все-таки насколько проще было бы для тебя, и для меня, и для всей моей методики, если бы ты оказался заурядным гениальным композитором. Или химиком.

— Да, — вздохнул Андрей, — не повезло мне с гениальностью.

* * *

Однажды, уже работая в Театре оперы, Андрей выкроил свободный от выступлений и репетиций день и отправился на Урал, к учителю. Цесевич сильно сдал, ему было почти сто лет, он не преподавал и жил в домике на берегу лесного озера.

— Солидно, — сказал Цесевич, оглядев Андрея. — Грудь колесом.

— Упражняюсь, — пояснил Андрей. — Нужно держать себя в форме. В иных вокальных симфониях приходится на одном дыхании петь минуты полторы.

— Терпеть не могу твой голос, — буркнул Цесевич. — Все равно, что Эйнштейн бросил бы физику и записался в ансамбль скрипачей.

Помолчали.

— Пойдем в дом, — вздохнул Цесевич. — Расскажи о себе. Женился?

— Нет, — ответил Андрей резче, чем хотел бы. Лена погибла год назад, и он еще не научился сдерживать эмоции. Цесевич посмотрел на него внимательно, и от этого взгляда, как в детстве, что-то оборвалось у Андрея внутри, и он, взрослый мужчина, известный всей планете певец, странно хрюкнул и готов был броситься учителю на шею и рассказывать взахлеб, вспоминая минуты счастья с Леной. С первой минуты их знакомства, когда Лена назвала свою профессию — подземная геология, ему представлялись рвущиеся переборки, грохот жидкого металла и магмы, заполняющей коридоры...

— Нет, — повторил Андрей и неожиданно понял, что

Цесевич знает о Лене, как и вообще знает многое о нем, Андрее.

Они сидели на веранде, пили мелкими глотками белый напиток «Песня», приготовленный Цесевичем из выведенных им самим сортов винограда и яблок.

— Андрюша, — сказал учитель. — После того последнего испытания в школе, когда ты отправился к Леонардо...

— Ничего не было, — сказал Андрей, поняв, что хочет узнать Цесевич. — Да и желания у меня такого не возникало.

— Странный ты человек, Андрей. Имеешь задатки гения и не желаешь их развивать. Нужны тренировки, лучевые процедуры, сейчас есть прекрасные методы, я внимательно слежу за литературой. Поработав, ты сможешь связываться с любым гением любой эпохи без жутких стрессовых видений. Неужели ты воображаешь, что как вокалист достигнешь большего?

Андрей и сам об этом думал, но думал отвлеченно. Обнаружив у себя голос, он стал певцом именно в опере, причем в классической, не потому ли, что таким образом пытался подсознательно создать хотя бы видимость контакта во времени?

С запада пришло круглое серое облако и повисло над домом. Цесевич посмотрел на часы.

— Поливочный дождь, — сказал он.

— Теперь вы занимаетесь селекцией?

— Селекцией, да... Только не растений. Хочешь попробовать?

Он протянул Андрею на ладони пару церебральных датчиков.

— Зачем? — сказал Андрей.

— Трус ты, — усмехнулся учитель. — Это упрощенный вариант. Тесты церебральные и подкорковые. Наука несколько продвинулась вперед, и я вместе с ней. На волне, так сказать. Надень и пойдем пить чай.

Андрей пожал плечами и прилепил датчики к затылку. Через минуту он забыл о приборе. Пил чай с вареньем и рассказывал о последних постановках. Изображал, как, по его мнению, следует играть финальную сцену «Онегина» и как пытается поставить ее режиссер. На взгляд Цесевича, оба варианта были неотличимы, но впер-

вые голос Андрея звучал не по стерео, а рядом, и учитель был поражен. Андрей это заметил и постарался выжать из себя максимум. Он не форсировал, пел мягко, и даже фраза «О жалкий жребий мой!» прозвучала как-то задумчиво, будто Онегин давно уже определил для себя судьбу, и сейчас лишь убедился, что был прав. Цесевич сказал коротко:

— Позовешь на премьеру.

Он прошел в угол веранды, где давно уже мигал на выносном пульте компьютера зеленый огонек. Андрей сорвал датчики с затылка.

— Баловство это, — сказал Цесевич. — Большую работу сейчас ведут в Институте профессий, но они доберутся до результата после моей смерти. Ага, — он пробежал взглядом надпись на экране дисплея. — Андрюша, ты не пробовал играть в го?

— Нет, — рассеянно отозвался Андрей, который и не слышал о такой игре.

— А чем ты занимаешься, когда свободен?

— Читаю, копаюсь в старинных книгах, нотах, слушаю записи, встречаюсь с друзьями...

— Играй в го, — энергично посоветовал Цесевич.

— Это ваш новый тест?

— Именно! Ты знаешь, что люди даже отдыхают не так, как могли бы? Гениальность свою губят смолоду, потому что неверно выбирают дорогу. Но отдых... Знал я одного археолога. На досуге он сочинял бездарные стихи и нес это хобби как крест. Я посоветовал ему разводить хомяков. Он посмотрел на меня... Знаю я эти взгляды... Я послал ему хомяков в подарок. Совсем человек изменился! Он и археологом стал более приличным, хотя наверняка гениален совсем в другой области. Но хобби! Увлечения, невинные забавы — и те выбирают неверно! Играй в го, Андрюша...

— Скажите, Сергей Владимирович, — Андрей замялся, — а вы сами...

— Нет, — резко сказал Цесевич, будто барьер поставил. — Об этом и мысли не было. И не смотри на меня так. Методика — дело всей жизни. Мне скоро сто. Не нужно. Не хочу.

— Врачу — исцелися сам, — сказал Андрей.

7

Вадим был в лаборатории не один. Теоретик Саша Возницын — коренастый и крепкий, с шевелюрой, свисающей на плечи, — ходил из угла в угол, а Вадим стоял у окна, сосредоточенно рассматривая цифры на широкой ленте машинной распечатки.

— Мне нужна именно сегодняшняя ночь, — говорил Саша. — Извините, Ирина Васильевна... Звезда слабеет, Вадим, рентгеновская новая гаснет, завтра может не быть погоды, и кто еще согласится наблюдать такой слабый объект?

— Ты видела астрономический цирк, Ира? — спросил Вадим.— Сегодня увидишь. Я могу запросто снять не то, что надо. Никогда не занимался звездами. А этот корифей пришел ко мне со своей авантюрой, зная, что другие откажутся наотрез.

— Вот-вот, — быстро вставил Саша. — Я знаю твой характер — бросаешься на все неисследованное.

— Что такое рентгеновская новая? — спросила Ирина.

— Неожиданная вспышка на рентгеновском небе, — пояснил Саша. — Появляется яркая рентгеновская звезда и через месяц-другой гаснет. Чаще всего навсегда. В некоторых случаях, как сейчас, рентгеновской вспышке соответствует и оптическая...

— В некоторых, — буркнул Вадим. — Причем довольно слабая. Нужно хотя бы окрестности посмотреть на Паломарском атласе. Пойдем на телескоп, корифей...

* * *

Ирине пришлось долго звонить, пока за стеклянной дверью не появился усатый вахтер в накинутом на плечи тулупе. В проходной горел электрокамин, было тепло, и Ирина постояла минуту, прежде чем подняться под купол.

Вадим стоял у окна и смотрел в черноту ночи. Чтобы лучше видеть, он погасил под куполом свет. Ирина тотчас ударилась обо что-то головой и застыла.

— Что с тобой, Вадим? — тихо спросила она.

— Сегодня дважды был там, — сказал Вадим. — Так часто никогда не было. Странная планета...

Он отступил в темноту и исчез. Под куполом заурчало, сверху заструился колючими лучами звездный свет —

купол раздвинулся. Визгливо заработали сервомоторы люльки. Ирина увидела уходящее вверх пятно и почувствовала себя ужасно одинокой, будто Вадим поднимался не под купол, а в другую галактику. Она прислонилась лбом к стеклу, но снаружи было темно, и Ирина не могла понять, что мог там разглядеть Вадим.

«Мы на все смотрим по-разному, — подумала она. — И думаем по-разному. Может, потому, что я не могу поверить в реальность Странностей? Возможно, Вадим и гений контакта в другом мире, но здесь он просто астроном, достаточно посмотреть в его глаза, когда он говорит о небе. Весь мир для Вадима как сцена с реальными фигурками, очень реальными, прямо настоящими, но...

Гений контакта! Странно все это. Даже не то странно, что он единственный специалист по контактам с внеземными цивилизациями на несколько веков. Но должен ведь быть еще и труд, который делает гения творцом. А у Вадима все слишком просто. Что знает он о контактах с иным разумом? Два века прошли мимо него. Что-то не так, или он не обо всем пишет и говорит».

«Ну и ну, — подумала Ирина, — я рассуждаю так, будто поверила. — И тут же оборвала себя: — Значит, поверила».

Она очнулась от визга спускающейся люльки. Вадим подошел к пульту сосредоточенный, усталый, это чувствовалось не по лицу, а по замедленным движениям. И по молчанию.

— Не молчи, пожалуйста, — попросила Ирина. — Когда ты молчишь, мне кажется, что тебя здесь нет... Что ты думаешь о будущем? Не о том, далеком, а о своем собственном. Что станешь делать завтра? Или через три месяца? Все время ждать, когда появится он... Арсенин?

— Прости, Ира, — сказал Вадим, — сейчас я просто не знаю, на каком я свете... Я выгляжу сумасшедшим, да?

— Нет, ты выглядишь уставшим от своего Арсенина. Не понимаю я, Вадим... Допустим, ты гений контакта. Но у тебя нет знаний, ты не работал в этой области. Никто не стал гением на досуге, между делом. Чтобы достичь в чем-то совершенства, нужно ведь чертовски много работать.

— Гений — это труд, да? Но где сказано, что труд должен быть виден всем? И даже самому гению?

— Ну, знаешь... Когда Карузо брал верхнее до, легкость поражала. Но все знали, чего эта легкость стоит.

— Значит, Карузо не был гением, — отпарировал Вадим.

— Гений может не работать над собой? — усомнилась Ирина. — Тогда я не знаю ни одного гения.

— А их за всю историю человечества было десятка два. Гении появятся в будущем, когда их научатся распознавать.

— Цесевич?

— Да.

— Я все же не понимаю, — настаивала Ирина. — Эти гении будущего... Они, в конце концов, должны будут переваривать колоссальное количество информации. Одно это отнимает массу времени.

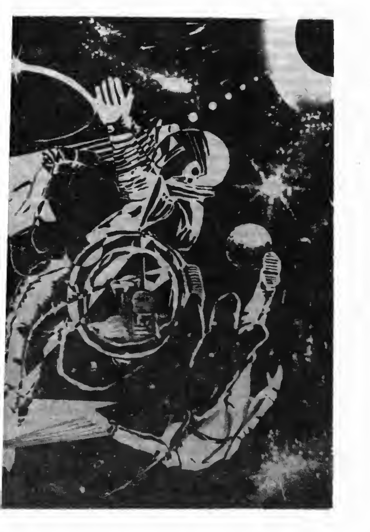
— В наши дни. Сейчас нет эффективных способов борьбы с информационной лавиной. Лет через сто все будет иначе. Профессиональные знания станут накапливать во время сна, а потом и в дневные часы — придумают специальные излучатели. Останется только вспоминать — даже о том, чего минуту назад человек и знать не мог.

— Где-то я читала, — сказала Ирина, — что и в двадцать втором веке в школах будут учиться столько же времени, сколько сейчас.

— Это ты у меня читала, — объявил Вадим. — А ты обратила внимание, какие предметы они будут изучать? Развитие воображения, методика открытий, теория изобретательства... В школах не останется предметов, единственное назначение которых — дать информацию. Не будет, например, географии. Все географические сведения дети получат в виде снов-приключений. А основные положения науки, формирующие мировоззрение, будут и вовсе записаны прямо в наследственной памяти. В школах станут тренировать мозг, как сейчас спортсмены тренируют тело. Программа будет рассчитана на воспитание талантливого человека. Но гением так не станешь. Талант проявит себя в любой области, которая ему по душе, а гений — нет.

— Ты хочешь сказать, что все методы контактов...





— Конечно! Я думаю, это очевидно. Я говорил тебе — наш контакт с Арсениным ограничен в основном профессиональными рамками. Остальное приходится собирать по крохам и сразу записывать, чтобы не забыть. А профессиональное вбивается как гвоздями. Основной принцип контактов — аналогия. Хоть в чем-то должно быть сходство нашего разума с чужим, это принимается как постулат. Невозможно придумать разум, не имеющий ничего общего с разумом человека. Так говорят сейчас, так будут говорить и через двести лет. Как наука проблема контактов так и не разовьется. Долго еще будет идти спор: как определить разум? Что, например, разумного в Аномалии?

— Значит, ты напичкан всякими теориями контакта?

— Даже нашими, современными, до которых сам не добрался. Могу написать учебник. Теория Дайчевского, система «Опрос», система «Иерархическая цепь»... Это будут самые популярные.

— А какой пользуешься ты?

— Никакой. Смотрю глазами Арсенина и говорю, что приходит в голову. Или не говорю — как сейчас. Я, в общем, знаю решение, но не придумал пока, как его осуществить. И очень не хочу, чтобы Арсенин разобрался в решении раньше времени. Он может наделать глупостей... Случай, на первый взгляд, тривиален. На меня Арсенин вышел с этой задачей три месяца назад. С тех пор мы провели девять сеансов. Только сегодня — два. Они ждут, они тоже понимают, что я уже знаю решение...

8

Поисковый звездолет «Сокол» был кораблем экстракласса. Экипаж его мог провести машину даже сквозь хромосферу звезды. Когда в системе Зубенеша обнаружили планету с разумной жизнью, капитан «Сокола», отправив отчет, решил посадить корабль. Его можно было понять: обнаружение цивилизации на Орестее означало крах общепринятых теорий эволюции.

Дело в том, что Орестея принадлежала к планетам типа Яворского, то есть была планетой-лазером. Атмосфера ее состояла из инертных газов с примесью ядовитых высокомолекулярных соединений. Излучение Зубенеша

возбуждает молекулы и атомы в атмосфере Орестеи. Атмосфера превращается в мину на взводе, и достаточно слабого светового импульса, но обязательно на строго определенной частоте, чтобы атомы мгновенно «скатились» из своих возбужденных состояний, за какую-то долю секунды отдав всю накоплённую энергию.

Когда Орестини, астроном экспедиции, сообщил первые данные об открытой им планете, командир звездолета Князев не думал, что она его так заинтересует. В бортжурнал занесли: открыта планета типа Яворского, названа Орестеей. По предварительным расчетам (учитывался газовый состав, масса и плотность воздушного океана, характер излучения Зубенеша), атмосфера Орестеи должна была превращаться в пылающий факел каждые восемьсот—тысячу лет. Естественно, ничто живое во время вспышек уцелеть не могло. Князев решил следовать дальше, но несколько минут спустя ситуация радикально изменилась. Хенкель, биолог экспедиции, человек до невозможности придирчивый и особенно недоверчивый к собственным выводам, объявил с недоумением в голосе:

— На планете разумная жизнь белкового типа, класс— гуманоиды, уровень — кроманьонский, стадия — переход к технологии второго разряда...

* * *

ЭВМ. Память. Бортжурнал. Открытый текст. Индексация по среднемировому времени.

16.07. Посадочная процедура. Следы верхней атмосферы — данные по параллельному каналу. Фотовизуально: поверхность планеты открыта, облачных образований мало, местами дымка. Водных или иных жидких бассейнов нет.

16.08. Нарастание плотности атмосферы не соответствует модели Лихтенштейна. Необходимо изменение посадочной процедуры. Нарастание плотности не соответствует... Сбой программы.

16.08. Возврат. Прямая передача параметров с выдачей на пульт. Параметры атмосферы вне классифика-

ции. Необходимо решение командира о продолжении посадочной процедуры. Решение получено.

16.11. Посадка мягкая. Двигатели — стоп. Пробы грунта — базальты, данные по параллельному каналу. Химическая аномалия: полимерные волокна, вне классификации. В атмосфере: молекулярные цепочки с очень высокой электрической активностью на грани разряда, длина возможного пробоя 200 метров. В оптике: до горизонта (дальность 4500 метров) скальные породы со сглаженным и оплавленным рельефом, биологически активных объектов нет. На горизонте горная гряда с двумя вершинами. Юго-запад: три колонны диаметром по 8,7 метра и высотой по 254 метра. Химический состав не определяется.

16.13. Химическая и электрическая активность атмосферы резко повышается. Причина не определена. Визуально: изменений нет.

16.17. Прозрачность воздуха резко падает, появляются облака, на уровне почвы — корональные разряды. Визуально: на горизонте колонны соединяются корональными разрядами.

16.18. Изменение программы. Место подачи команды — с пульта. Характер изменения — переход к процедуре посадки высшей степени опасности. Установка силового барьера на расстоянии 15 метров от звездолета.

16.19. Изменение программы. Силовой барьер не устанавливается, поле нестабильно. Причина: утечка энергии в атмосферу. Прогноз: взрыв систем стабильности через 41 секунду.

16.20. Изменение программы. Старт по аварийному сигналу. Визуально: туман из химически и электрически активных частиц. Вероятная длина пробоя — 1200 метров. Старт.

16.21. Высота 8 километров. Выше границы тумана. Вероятная длина пробоя в атмосфере 23 километра. Разряд неизбежен. Разряд неизбе...

* * *

Эта передача была принята станциями слежения через несколько недель после того, как «Сокол» с экипажем обратился в пар, в ничто.

Вторая экспедиция была, конечно, осторожнее. Отправились два звездолета — этого требовала и процедура предполагаемого контакта. «Енисей» и «Соболев» — оба разведчики экстракласса, как и погибший «Сокол». Командиром пошел Стебелев — опытнейший ас, давно налетавший положенные для списания из космофлота две тысячи световых лет. Стебелева не списывали. Наверное, потому, что ни один из его кораблей не попадал в аварийные ситуации, никто из работавших под его началом не погиб за сорок лет полетов Стебелева на кораблях звездной разведки. При этом Стебелев никогда не возвращался, не выполнив задания. Это был очень немногословный человек с ясной улыбкой. Стебелев был низкорослым — метр семьдесят семь — и любил, когда на него смотрели сверху вниз. «Это дает преимущество, — говорил он. — Когда смотришь вниз, то подсознательно недооцениваешь противника, смотришь вверх — стремишься переоценить. В споре лучше вторая позиция».

«Енисей» и «Соболев» остались на высоких орбитах, а экипажи ушли на Орестею в ботах — специальных ракетах типа челнок. Скорость входа и посадки у них была минимальной — вся процедура занимала почти три часа. Войдя в атмосферу, боты «надели» защитные поля и опустились в полутора километрах от поселка аборигенов. Городов на Орестее не было, самый крупный из поселков насчитывал от силы триста жителей. Дома стояли не кучно, как разбросанные по игровому полю кегли. На краю поселка дымила трубой фабрика, каждые полчаса из темного проема ворот выползал трехколесный паровик, нагруженный серыми тюками. Паровик катил к колоннам — непременной принадлежности каждого поселка — и сбрасывал тюки в люк. Техника была довольно примитивной, примерно девятнадцатый век по земным меркам. Кто и как при такой низкой технологии и с явным недостатком в рабочей силе мог поднять огромные двухсотметровые колонны? И для чего?

Из фонограммы заседания
Ученого совета экспедиции.
Присутствовали все пять
руководителей программ.
Председатель Стебелев.

Туркенич (главный биолог). Без преамбулы. Биотесты перед вами. Вывод — орестеане неразумны.

Бунин (главный эколог). Вывод излишне категоричен, Марк. Мы обнаружили за эти дни триста одиннадцать показателей разумной деятельности. Могу перечислить основные: строительство домов, колонны, фабрики, использование энергии пара...

Туркенич. Знаю. Они действуют *как* разумные, но они неразумны. У них нет мозга.

Бунин. Вы антропоцентричны, Марк.

Туркенич. Вовсе нет. Мне все равно, чем они думают, хоть пяткой. К тому же физиологически они близки к антропоморфам.

Стебелев. С одним существенным отличием.

Туркенич. Вы имеете в виду энергетический обмен?

Стебелев. Конечно, это же главное.

Туркенич. Согласен. Они не едят в нашем понимании, прямо утилизуют электроэнергию, благо в атмосфере ее достаточно. Электрохимия организма у них потрясающая. Но это не противоречит антропоморфизму. У меня ведь много чисто поведенческой информации, независимой от физиологии. Могу показать реакции орестеан на тысячи стандартных раздражителей. Алексей расскажет об этом подробнее.

Стебелев. Прошу вас.

Каперин (главный психолог). Жуткая вещь, командир. Они живут, действуют. И при этом совершенно равнодушны. Могут не замечать предмета, который мельтешит у них перед глазами, если этот предмет им не мешает. Мы навели у входа в бункер колонии голографический мираж. Показывали Землю. Никакого впечатления. Видели, но не обратили внимания, им было неинтересно. Наш вывод: орестеане действуют как машины, надежно запрограммированные, с эвристической программой. Мозг им не нужен, достаточно оперативной

и долговременной памяти. И системы прецедентов. Нечто вроде приобретенных рефлексов.

Стебелев. А что же триста одиннадцать проявлений разума?

Каперин. Не убежден, что это проявления их разума.

Бунин. А чьего же? Здесь нет ни животных, ни сколько-нибудь высокоорганизованных растений. Неорганическая жизнь тоже не обнаружена.

Туркенич. И при этом цивилизация не старше девятисот лет. Она не могла выжить, когда вспыхнула атмосфера. Здесь плавились горы!

Бунин. Об этом и думать не хочется. Чушь какая-то.

Стебелев. Вы все бьете в одну точку. Заметили?

Каперин. Разумеется. Вероятно, это единственное объяснение. Аборигены были завезены на Орестею несколько веков назад. Они нечто вроде биороботов, оставленных кем-то, о ком мы и должны узнать. Возможно, что колонны — это средства связи с хозяевами. Антенны.

Стебелев. Вы можете это доказать?

Бунин. Продолжим тесты, убедимся.

Стебелев. Активные тесты запрещаю, пока не изучите язык.

Бунин. Командир, в числе проявлений разума орестеан не значится язык.

Стебелев. Я потому и сказал.

Бунин. Мы догадываемся, какая у них вторая сигнальная.

Стебелев. Что-нибудь с электрической активностью?

Туркенич. Естественно, это напрашивается. Вот так называемые цереброграммы. Множество зарядовых флуктуаций. Мы думаем, что это речь. Структурный анализ пока невозможен, поскольку нет зрительных аналогов, приходится вести полный анализ по Страйту, а это двойная система шумов. Поэтому расшифровка может продлиться месяц...

Стебелев. А что носитель?

Туркенич. Это тоже бросается в глаза. Активные радикалы в атмосфере. Электростатика в теле аборигена перестраивает электрическую активность в воздухе

на расстоянии до полуметра. Изменение электрической активности формирует новые химические связи, новые активные соединения, которые разносятся током воздуха на довольно большое расстояние. Так возникает воздействие на электростатику организма другого аборигена...

Стебелев. Ясно, спасибо. Я так понял, что электрически пассивных предметов они попросту не замечают.

Туркенич. Именно. Но не потому только, что предмет пассивен. Его видят, но он не мешает, а реагируют они только на помехи.

Стебелев. Это называется отсутствием любознательности.

Бунин. Совершенно верно.

Стебелев. Хороши разумные! Туземцы при виде кораблей капитана Кука сбегались на берег толпами. А у них не было паровиков и двухсотметровых колонн.

Бунин. Может, потому и сбегались?

Стебелев. Полно, Стас. Если вы, мудрый землянин, увидите, как опускается корабль пришельцев...

Бунин. Знаете, я не обязательно побегу глазеть. Есть общая теорема Беликова — менее развитая цивилизация является пассивным участником контакта и не должна мешать исследовать себя.

Стебелев. По-моему, вы преувеличиваете возможности аборигенов.

Бунин. А вы знаете их истинные возможности?

* * *

Из книгофильма В. Кравцова «Погибшие на Орестее»; глава I, год издания 2164.

Стебелев был «прочным» капитаном. Говорили, что он думает больше о возвращении, чем о движении вперед. Не хочу спорить, но, по-моему, именно о возвращении и должен думать каждый настоящий командир... Я подхожу к описанию того последнего дня и пытаюсь логически обосновать поведение Стебелева. Слушаю пленки, смотрю стерео... Ничего. Будто помрачение нашло на «прочного» капитана. Но это неверно — до последнего мгновения телеметрия показывала, что он совершенно спокоен...

В тот день люди впервые услышали песчаный орган.

Двухсотметровые колонны, успевшие получить название «Склады Гобсека», запели. Слышите?.. Сначала ровное звучание на низких тонах. Все три колонны. Потом две колонны повышают тон — одна быстрее, другая медленнее. Слушайте... Эта запись близка к тем звукам, которые услышали Стебелев и его товарищи, когда во время одной из вылазок подошли к поселку. Орестеане сидели в своих хижинах. А орган играл. Люди подошли к основанию колонн. Слушали в одиночестве, потому что, хотя и стояли плечом к плечу, но каждый был один, каждому звуки дарили ощущение пустоты вокруг и власти над этой пустотой...

Бунин говорил потом, что перестал ощущать свое тело. В музыке звучали разом все симфонии Бетховена, его любимые симфонии, все песни Брайтона, его любимые песни, вся музыка, которую он когда-либо слышал, звучала в его ушах, глазах, пальцах, во всем теле. Удивительнее всего, что он мог думать о чем угодно, мысли не рассеивались, напротив, музыка будто кристаллизовала их. Именно в эти мгновения Бунин решил сложный экологический парадокс Регула-III, с которым возился давно и из-за которого одно время даже не хотел лететь на Орестею.

Неожиданно Бунин увидел, что их группа окружена. Кольцо орестеан смыкалось. Бунин — это была уже третья параллельная мысль — заметил в руке у каждого аборигена небольшой подковообразный предмет. Назначение его Бунин уже знал — это было мощное искровое устройство, орестеане расплавляли с его помощью твердые скальные породы. «Зачем? — мелькнула мысль. — Форма проявления любознательности? Как у детей — сломать и посмотреть?» Раструбы резаков медленно поднимались. «Свой пистолет тогда Евгений, не преставая наступать, стал первый тихо подымать». Бунин не мог вспомнить, откуда эти неожиданно возникшие в сознании строки, и это мучило его почему-то больше, чем скорая гибель. Но вместо «Онегин выстрелил» прозвучал чей-то пронзительный крик, и все кончилось. Орестеане опустили резаки, круг распался, и они занялись каждый своим делом. Будто и не было ничего. И музыка смолкла — начисто, как отрезанная.

Бунин сразу увидел Стебелева. Командир лежал, рас-

кинув руки, без шлема, лицо его посинело в отравленной атмосфере Орестеи, последние мгновения «прочного» капитана были мучительны. Но на скафандре не оказалось повреждений, и это означало...

Что это означало, они решили потом, на «Соболеве», составляя заключение о смерти. Судя по всему, командир в минуту душевного потрясения, вызванного музыкой «Складов Гобсека», выключил обе системы блокировки и откинул шлем. Так показала экспертиза. Стебелев знал, что отравление и удушье наступят сразу, но звуки песчаного органа влияли на людей по-разному. Бунин слышал всю музыку мира, Туркенич — просто шум, завораживающий и усыпляющий, Каперин — голоса знакомых и незнакомых людей. А Стебелев?

Так на Орестее появился первый памятник. Сейчас их тридцать шесть. Тридцать шесть человек оставили жизни на этой планете. Ни одной из планет — даже самым буйным — земляне не платили такой дани.

Тридцать три человека погибли от рук аборигенов. Метод у этих безмозглых, но будто бы разумных созданий был один — выманить человека поближе к «Складам Гобсека», парализовать музыкой волю. И проанатомировать.

Только двое погибли из-за собственной неосторожности. Планетологи Моралес и Ляхницкий возвращались на базу после разведки на плоскогорье Тяна. Летели медленно — на каждом боте стояли ограничители скорости. В это время в ста семнадцати километрах западнее маршрута подал сигнал бедствия маяк. Телеобзор показал: аборигены пытались опрокинуть врытую в почву конструкцию. Не из любопытства — просто маяк, стоявший на окраине поселка, оказался на пути траншеи, которую они рыли. Можно было успеть спасти оборудование, если, конечно, увеличить скорость полета. И Моралес отключил ограничитель. Электрическая активность атмосферы в тот день не превышала допустимых границ, и потому разряд последовал как гром с ясного неба. От бота осталась груда оплавленного металла. С тех пор ограничители скорости ставили без возможности отключения, и ни одно транспортное средство на Орестее не могло развивать скорость больше восьмидесяти километров в час...

* * *

Когда Комитет решил обратиться к Арсенину, ситуация на Орестее была критической. Контакт зашел в тупик. Более того, за десять лет не удалось выяснить, как все же орестеане умудряются мыслить и мыслят ли вообще.

Дело было перед премьерой, работа не клеилась — ставили «Клеопатру» Трондхейма, и Арсенин никак не мог вжиться в образ Антония. Он смотрел книгофильм Кравцова, но думал об Антонии. Оживился, только когда услышал музыку «Складов Гобсека». Вслушивался старательно, профессионально, но не услышал ничего. Гул, и только. И этой потерянной, неуслышанной музыки Арсенину было почему-то жаль больше, чем всех погибших.

«Надо лететь», — подумал Арсенин. Он хотел на Орестею, чтобы услышать самому. Все остальное — контакт с Гребницким, изучение орестеан — казалось второстепенным, вынужденной платой за предстоящее удовольствие. Он никому не сказал об этих своих мыслях. Изучил все материалы по Орестее, многого не понимая, с единственной целью вдолбить их в мозг Гребницкого. Между делом спел премьеру «Клеопатры», спел без вдохновения, и критики это заметили, но отнеслись снисходительно — все знали об экспедиции.

На связь с Гребницким Арсенин вышел уже в полете. Сейчас это получалось значительно легче, чем прежде, — без гипнотерапии, без препаратов, доводивших мозг до стрессового состояния. За час трансляции Арсенин успел втиснуть в мозг Гребницкого почти все, что сам знал об Орестее. Ждал обычной заинтересованности, но Вадим почему-то вел себя скованно. Лишь вернувшись в свой век, в каюту на борту звездолета «Жаворонок», Арсенин понял, почему был пассивен Гребницкий. Он почувствовал неожиданную сильную боль в горле, в висках стучало, ощущение было никогда не испытанным и потому вдвойне неприятным. Арсенин пожаловался на недомогание милейшему человеку Коробкину, врачу экспедиции. Коробкин все знал, и хандру Арсенина определил сразу.

— Грипп, — сказал он.

— Что? — изумился Арсенин. — Грипп на корабле? В наше время?

— Думаю, что не в наше, — задумчиво сказал

Коробкин. — Да и не грипп это в полном смысле...
— Вы хотите сказать...
— Представьте себе, Андрей. Вы заразились от вашего Гребницкого.
— Вневременная передача вирусов?!
— В вашем организме нет болезнетворных вирусов. Все это следствие внушения. Вы будете здоровы через пять минут после сеанса самогипноза.
Когда пять минут миновали и боль сняло как рукой, Арсенин спросил:
— А если бы Гребницкий умирал от рака? Или во время сеанса попал под колеса автомобиля?
— У вас, вероятно, был бы шок, — подумав, ответил Коробкин.
— Но я не умер бы?
— Что вы, Андрей! Правда, ощущение было бы не из приятных, я думаю...
Он ушел, и Арсенин почувствовал, что врач принял все гораздо серьезнее, чем старался показать. Спал Арсенин плохо, ему снился Антоний, умирающий от ветрянки. На следующее утро вместо сеанса связи с Гребницким были назначены медицинские испытания.
С точки зрения Арсенина, тревога была напрасной, едва он понял, что заболеть по-настоящему не сможет. Сеанс с Гребницким в конце концов разрешили, но под пристальным надзором врачей. На этот раз не возникло никаких неприятных ощущений, но в конце сеанса Арсенина обожгло неожиданное предчувствие близкой опасности. Он не мог понять, откуда исходит это предчувствие, но как-то оно было связано с Гребницким.
Позднее Арсенин утвердился в ошибочном мнении, что опасность, которую он вообразил, мнимая. Просто несоответствие характеров. Контакт с Гребницким прочен и глубок. Все в порядке. Арсенин начал готовиться к высадке на Орестею...

9

Пришли тучи — черные, тяжелые, вязкие, как мазут. Они шли низко, съедая звезды на предрассветном небе, шли сомкнутым строем, в молчании, как орда завоевателей, выбравшая самую темную ночную пору для вероломного вторжения. Вслед за тучами, оставляя на скло-

нах холмов мутные серые клочья, плелся туман. На смотровой площадке телескопа, узкой полосой окружавщей купол, было зябко.

— Бесконечная ночь, — тихо и с какой-то безнадежностью в голосе сказал Вадим. — Пока мы разговаривали, прошли еще два сеанса...

— Я и не заметила...

— Темно. Я старался не упустить нить разговора. Все время твердил про себя последние фразы. Это отвлекает, но помогает не сорваться при возвращении... С минуты на минуту будет окончательный сеанс.

— Что значит — окончательный?

— Арсенин на пороге. У посадочного бота. Один. Когда начнется сеанс, он будет уже на Орестее. И тоже один. Станции с планеты эвакуированы. Я так просил... Вступить в контакт мы с Арсениным сумеем сами. А вот последствия представить трудно. Поэтому я хочу контролировать каждый шаг. Чтобы никто не смог вмешаться. Дело в том, Ира, что орестеане разумны не больше, чем мой большой палец. Пальцы ведь тоже делают тонкую работу, пишут, рисуют. Жители Орестеи — как пальцы. Разум им не нужен. Как в чем-то не нужен разум Арсенину, когда командую я. Как не нужен мне иногда. Все мы в какой-то степени чьи-то пальцы, исполнители чьей-то воли, даже если нам порой кажется, что решения самостоятельны. А на Орестее истинное, единственное и всепроникающее разумное существо — ее атмосфера, воздух.

* * *

Она родилась восемьсот лет назад. Аргоно-неоновая атмосфера, в которой веками копилась убийственная энергия, взорвалась, вспыхнула факелом. В горниле взрыва и родилась Орестея — не планета, а единственный ее разумный обитатель. Жар выплавил из почвы легкие элементы. Как в первородном океане Земли, в атмосфере Орестеи протекали бурные химические процессы. Рождались сложные соединения, молекулы сцеплялись друг с другом, формируя нестойкие, распадающиеся связи. В земном океане это привело однажды к появлению белка. Жизнь на Орестее возникла из менее стойких и сложных соединений, но почти сразу во всей

атмосфере, от поверхности планеты до крайних высот, где жар Зубенеша разбивал молекулы, не позволяя жизни жить...

Вадим сделал простой расчет. Мозг одного человека содержит около тридцати триллионов клеток, в мозгах всех людей оглушительное число клеток — единица с двадцатью тремя нулями! Но в атмосфере Орестеи могло образоваться (по скромным подсчетам!) десять в тридцать шестой степени сложных органических молекул. В десять триллионов раз больше! Грубо говоря, зто десять триллионов человечеств! После зтого Вадим ничему не удивлялся, любую информацию об Орестее соотнося с зтим числом.

Молодой разум принялся за дело. Он ураганом обрушивался на горные кряжи, стирая их в порошок, укрощал вулканы и вызывал извержения, зрозией и злектрохимическими процессами вытравляя из почвы все, что хотел, менял химический состав воздуха, электрическую активность и тем самым строил и разрушал. Управлял климатом, покрывая планету облаками, поглощавшими почти все излучение Зубенеша. Энергия шла в рост молекул, в рост мозга, но из-за этого наступило переохлаждение планеты, возникли ураганы, с которыми даже вездесущий разум не смог справиться. Невыносимая боль раздирала тело, и разум рассеял облака.

Еще он мог создавать воздушные линзы и миражи, но кто видел эти прекрасные явления? Мог музицировать на созданных им инструментах — песчаных органах. Он мог — и делал зто — мешать прохождению радиоволн и обычного света и сначала не понимал, что свет и радиоволны — сигналы извне, из Вселенной, по сравнению с которой вся Орестея — ничто. Это было величайшим открытием сродни системе Коперника. И разум пожелал понять, как устроен мир. Тогда он и ощутил собственное бессилие. Ему не нужны были руки, чтобы добывать пищу, чтобы выжить. Но познавать мир без рук, без возможности делать тонкую работу, было немыслимо.

И разум сконструировал себе пальцы.

Он пробовал и ошибался, собирал воедино триллионы молекул, играл ими, перестраивал связи и уничтожал созданное. На Земле отбор шел естественным путем, им занималась слепая природа, и чтобы создать человека, ей понадобились миллионы лет. Разум на Орестее действовал целенаправленно и добился своего значительно быстрее. Существа, придуманные и построенные им, были бездушны и тупы, но умели, не понимая ничего, делать все: месить глину и строить, выплавлять в печах металлы и стекло для антенн и телескопов. Они были биороботами и действовали по командам — химически активные молекулы проникали из воздуха в тело, вызывая нужные реакции. Существа эти — плод многих ошибок, осознав которые и сам разум стал много умнее, — оказались вполне жизнеспособными.

Так на Орестее началась вторая ступень развития цивилизации. «Пальцы» шлифовали зеркала из выплавленного ими же стекла, строили телескопы и получали превосходные изображения небесных тел. Информацию, что накапливалась в организмах пальцев, разум Орестеи тут же считывал — электрические токи шарили по молекулам, как воришки по карманам. Пальцам не полагалось иметь долговременной памяти. Разум Орестеи синтезировал устойчивые радикалы — блоки памяти и копил знания в заоблачном слое, выше ураганов планеты и все же достаточно низко, чтобы излучение Зубенеша не разбивало молекул.

Разум узнал о том, что пустота, которой он окружен, не бесконечна. Узнал, что есть звезды и планеты. «Если так, — решил он, — то в атмосферах далеких планет тоже мог родиться разум».

Однажды тело его пронзила острая боль. Она возникла в ионосфере и перемещалась вниз по наклонной изогнутой линии. Химические рецепторы подтвердили — к поверхности Орестеи двигалось металлическое тело, раскаленное, сжигающее все на пути. Особенно больно стало, когда игла пронзила слой, где размещались рецепторы памяти. И разум инстинктивно принял меры, не думая о том, что и почему уничтожает.

Ошибку он осознал много позднее, когда в тело вонзилась вторая игла, а за ней и третья. Они тоже стремились к планете, но значительно медленнее, боль была

терпимой, и разум Орестеи решил «посмотреть», что будет дальше. Иглы опустились, и из них вышли пальцы. Чем же еще могли быть эти существа, как не созданиями чужого разума?

Чужие пальцы вели себя на редкость бестолково. Общались они с помощью радиоволн, и разум Орестеи глушил радиопередачи и глазами своих пальцев наблюдал, как суетятся пришельцы. Он понимал, что чужие пальцы вынуждены носить металлические оболочки, потому что были созданы в иной газовой среде, иным разумом. Попыток объясниться чужаки не предпринимали, и разум Орестеи решил сделать первый шаг сам.

Для начала он задумал проверить, какой состав воздуха является для пришельцев оптимальным. Чужаки были осторожны и передвигались вместе. Разум Орестеи дождался, когда один из них отстал от группы, и начал решительные действия.

И тогда произошло неожиданное: пришелец сам снял с себя оболочку. В то же мгновение на пришельца набросились потоки химически и электрически активных молекул — считывающие струи. Они натолкнулись на мощный ритмический электрозаслон. В голове пришельца царил хаос сигналов. Разум Орестеи знал, что это могло означать: либо хаос умирания, либо высокоорганизованную последовательность импульсов — мысль. Выбирать не было времени. Пришелец погибал в ядовитой для него атмосфере. Разум Орестеи стремился прежде всего полностью зафиксировать информацию. Возник вихрь — считывающие струи устремились вверх, в зону устойчивой памяти. Все это заняло несколько секунд. Пришелец погиб.

Разум Орестеи ослабил хватку своих пальцев, выпустил чужаков из кольца, наблюдал, как они бросились к товарищу, отнесли его в иглу. Игла поднялась на струе плазмы, проткнула огненным шилом атмосферу, и разум стерпел боль. И начал думать.

«Что стал бы делать я, — рассуждал он, — если бы сумел послать в космос свои пальцы? Простая программа, которой я смог бы их снабдить, наверняка откажет, едва пальцы столкнутся с неожиданностью. Значит, к основной программе нужно добавить стремление к выживанию, к сохранению накопленной информации. Чувство

самосохранения — вот чем должны быть наделены чужие пальцы. Но зачем тогда пришелец снял оболочку?»

Пока разум Орестеи раздумывал, пришельцы явились вновь. На планету с большими предосторожностями опустились несколько игл. Чужие пальцы устраивались основательно, но план действий руководившего ими разума оставался неясен. Разум Орестеи начал действовать сам: выбирал удобные моменты и нападал, но ни разу это не принесло такого успеха, как при первой попытке. Чужаки быстро погибали, не успев ни понять того, что с ними происходит, ни сообщить хоть какую-то осмысленную информацию. Разум Орестеи готов был пожертвовать и своими пальцами, но чужаки не желали экспериментов.

Разум Орестеи решил, что важнее разобраться в системе связи и попытаться выйти на прямой контакт с чужой атмосферой, чем делать это кружным путем, с помощью бестолковых пальцев. Чужакам он старался теперь не мешать, реагируя лишь в тех случаях, когда пришельцы делали ему больно.

А однажды чужие пальцы, повинуясь, вероятно, приказу своего разума, собрались и улетели. Будто испугались чего-то. Разум Орестеи насторожился, все рецепторы его были в алертном состоянии, пальцы внимательно осматривали и слушали окрестности...

10

— Только что я порвала все, что написала за неделю. И все, что задумала. Почему ты так смотришь? Я сделала это мысленно. Вернусь к себе в номер и на самом деле все порву.

— Часто ты так поступаешь?

— Нет... Не хочу я писать о консерваторах-завлабах, о телескопах и спектрометрах. Хочу написать о тебе, о том, как ты живешь. Ведь нехорошо живешь. Уходишь от острых проблем ради возможности решать свою задачу. Ради будущего, которого нет.

— О чем ты, Ира?

— Дай мне сказать, Вадим... Думать, по-моему, нужно о том, как жить сейчас, а не о контактах с какими-то дурацкими пальцами где-то и когда-то... Пойдем, уже рассвело. И дождь прекратился.

— Странная ночь... Осторожно, не оступись... Не торопи меня, Ира. Я и сам об этом думаю. Иногда во время сеансов прошу Арсенина оставить меня в покое, а он думает, что у меня хандра, приступ плохого настроения. Я им нужен, понимаешь?

— Ты нужен здесь, Вадим. Здесь и сегодня.

— Ира, не торопи меня... Только не сейчас... Я знаю, как можно вступить в контакт с Орестеей, и я очень боюсь, что Арсенин это поймет... Я боюсь даже думать четко об этом решении. И не могу думать ни о чем другом.

— Не понимаю, Вадим.

— Нужен контакт с Орестеей. Когда-то Стебелев догадался, что нужно делать. Но его никто не понял. Подумали, что командир рехнулся. А он просто нашел решение. Я тоже его нашел. А теперь ищу другое и не нахожу. Если Арсенин поймет... Он сделает то же самое, что Стебелев, даже не думая. Во время сеанса думаю я — он выполняет.

— Боишься за Арсенина? За мираж?

— Это не мираж, Ира... Он человек. Ну вот мы и пришли. Иди к себе... Пожалуйста, не рви того, что написала.

— Что ты собираешься делать, Вадим? У тебя очень усталое лицо.

— Спать. Надеюсь, что сеанс будет не раньше полудня. Надеюсь придумать выход...

— Для Арсенина. Для будущего. А для себя?

— Ира...

— Спокойной ночи, Вадим.

— Гляди, какое утро, Ира. Ночи нет. День впереди...

11

Солнце зашло. Не Солнце, конечно, а Зубенеш. Арсенин остался один, будто попрощался с другом, не навсегда, на ночь, но все равно стало так одиноко, что он застонал.

Место, где бот, улетая, пронзил облака, осталось багровым, как рваная рана в груди. Так не могло быть на Земле. И шорохи. Они возникали то у самого уха, как тайный шепот, то в отдалении, будто упругая поступь хищника, а то слышались со стороны тамбура, и по его

металлической поверхности пробегали сполохи, как чьи-то светящиеся следы. Такого тоже не могло быть на Земле. И не могло быть на Земле этих мрачных двухсотметровых колонн в десять обхватов. Около них — Арсенин знал, но не видел в полумраке — ходили люди. Невысокие, кряжистые, коричневые, безголосые. Их тоже не было, не могло быть на Земле.

Орестея. Оставшись один, Арсенин то ли был испуган, то ли ошеломлен неожиданным, никогда не испытанным чувством ненужности и бесприютности. Впервые он был один на целой планете. Орестея. Не от Ореста, а от Орестини. Но все равно Арсенину чудилось в названии что-то оперное, от Ореста, а не от Орестини — героя, а не человека.

Арсенин подошел к тамбуру, дверь отодвинулась, открыв вход в подземную часть станции, и в это мгновение Арсенин услышал пение. Кто-то низким голосом вел однообразную мелодию в мажоре, вверх-вниз, вверх-вниз. Казалось, что пели отовсюду. Арсенин и сам запел, подражая, но тогда перестал слышать. И неожиданно ему захотелось, чтобы Гребницкий послушал эту мелодию вместе с ним. Ощущение связи возникло быстро, будто что-то разрасталось внутри него, заполнило тело, мозг, он уже чувствовал, как копошатся мысли Гребницкого, туманные и тревожные, как они приобретают стройность. «Слушай», — мысленно пригласил он. И они слушали вдвоем.

Мелодия перешла в другую тональность, и мысли повернули вслед. Арсенин подумал, что десять лет люди делали на Орестее совсем не то, что было нужно. Подумал, что в этих кряжистых созданиях разума не больше, чем в кухонном комбайне. Он успел еще сообразить, что это не его мысли, что это Гребницкий думает внутри него. Мгновенное, острое и непонятное желание заставило Арсенина вызвать на связь «Жаворонка», отключить обе системы блокировки, усилием рук отодвинуть защитные щитки на затылке, и шлем снялся легко, легкий ветер взъерошил волосы, приторный запах, отдаленно похожий на запах сырости, а на все остальные запахи Земли похожий еще меньше, проник в ноздри, и пение стало совсем тихим.

Он услышал внутри себя крик Гребницкого «Зачем?!» и в динамиках — беспокойные возгласы. На «Жаворон-

ке» подняли тревогу. Тогда он заговорил быстро и четко, не понимая смысла фраз, он только повторял слова, которые возникали в его уже отравленном и разгоряченном мозге. Потом он почувствовал холод и опьянение воздухом, будто неожиданно оказался в струе кислорода, и одновременно легкое постукивание в голове, будто кто-то щелкал пальцами внутри черепной коробки. «Это она, — подумал Арсенин, — это Орестея говорит со мной. Читает в моих мыслях то, что я могу ей сказать. Нет, не я, а он. Гребницкий. Мы оба. И все человечество».

И еще Арсенин успел подумать, что теперь он умрет.

12

Ирина проснулась оттого, что солнечный зайчик уселся на переносицу. «Неужели тучи разошлись?» — подумала Ирина. Поспала она немного, часа два-три, и не отдохнула совершенно. Ей снился Вадим. Кажется, была пустыня. И атомный гриб. А она стояла рядом с Вадимом и смотрела, как в летку печи, прикрыв глаза ладонью. А потом... Какой-то голос требовал, чтобы Вадим решил задачу, и это было ужасно, что ему вот так приказывают, а он не в силах отказать. Не в силах или не хочет? Он гений и, значит, не может хотеть или не хотеть. Он должен.

«Глупость какая, — подумала Ирина. — Вопрос о долге — причем здесь он? Вадим — гений контакта? Но где его одержимость идеями контакта? Гений — это труд добровольный, изнуряющий, и счастье его в этом, и мука, и все противоречия мира. Где это у Вадима? А у Арсенина? Они, в сущности, вполне обыкновенны, каждый для своего времени. Оба любят вовсе не то, к чему призваны. Дай волю Арсенину, и он будет только петь. Его любовь — опера. А Вадим выбрал астрофизику.

Но в чем тогда смысл, назначение человека? В том, чтобы найти себя и делать свое дело легко, так легко, чтобы никто, даже он сам, не подозревал, какая титаническая работа, скрытая видимой легкостью решений, идет в подсознании? Или в том, чтобы обречь себя на тот зримый кропотливый труд с заведомо меньшими результатами, но более весомый в силу своей грубой зримости? Или в том, чтобы тихо делать незаметное и мало кому нужное дело, к которому привык и от которого получаешь

если не наслаждение, то хотя бы минимальное удовлетворение? Или в том, чтобы жить так, как нужно не тебе, а другим, и делать то, что другие считают наиболее важным сейчас, в это мгновение?»

Ирина сидела за столом, накинув поверх ночной рубашки халат, писала быстро, знала, что останавливаться нельзя, что мысль, которую она не успела додумать, появится на бумаге, под ее рукой, и тогда она ее прочтет и поймет.

Неожиданная мысль всплыла, ненужная и чужая, Ирина записала ее прежде, чем успела понять: Арсенин заболел, потому что болен Вадим, а Вадим заболел, потому что... Она бросила ручку и смотрела на эту строку.

Арсенин и Вадим. Контакт во времени. Все более глубокий. Во время сеанса они — одно. Не только мысли — всё существо. И если во время сеанса... один из них умрет... Что? Через два века? Глупо. Но... Вадим знает решение и не хочет думать о нем, потому что... А если Арсенин все же поймет смысл... И во время сеанса ...просто подчиняясь чужой, пусть даже неосознанной воле...

«Я же никогда не любила фантастику, — подумала она. — Арсенина нет. Выдумка, игра воображения». Руки против воли уже натягивали первое попавшееся платье. По улице поселка Ирина заставила себя не бежать, солнце стояло высоко, кажется, уже перевалило за полдень.

Она обратила внимание на то, как много людей собралось около дома Вадима. Из подъезда появился Евгеньев, директор обсерватории, чуть не налетел на Ирину, и некоторое время они смотрели друг на друга, будто не могли узнать.

— Я еду в город, — сказал Евгеньев и пошел к своему отмытому до блеска УАЗу. Он оглянулся, кивнул ей, и Ирина села рядом с директором на заднем сиденье. Машина рванулась с места, чуть притормозила у низких металлических ворот, а потом вырвалась на простор.

— Где он сейчас? — спросила Ирина, когда молчание Евгеньева перешло разумные пределы.

— Сейчас? — директор задумался, что-то вычисляя. — На пути к городу. Наша машина отвезла его в Кировку, но оттуда позвонили и сказали, что отправили Гребницкого в областную клинику.

— Что... что с ним?

— Отравление каким-то газом. Меня беспокоит, откуда в жилом помещении взялся ядовитый газ. Непонятно... Собственно, вы были последней, кто говорил с Гребницким. Что он...

Ирина молчала. Все-таки это произошло. Неужели Вадим не смог придумать иного решения? В конце концов виноват Арсенин и все они там, в двадцать втором веке. Они спрашивали Вадима, хочет ли он такой двойной жизни? Выдержит ли он? Они впрягли его и должны были понимать, что это не навсегда. Человек и его эпоха неразделимы. Даже если ты опередил в чем-то свое время, ты все-таки живешь в нем, ты сросся с ним, и вырвать тебя из этой почвы может лишь смерть. Или безумие. Всякая жертва должна быть добровольной. Всякое вмешательство милосердным.

Машина подкатила к больничным воротам. Ирина не заметила, как они проскочили городские окраины. Она вышла.

— Прощайте, — сказал Евгеньев. — У меня дела.

— Спасибо, — сказала Ирина.

В приемном покое было светло, чисто и тихо. Ирина справилась о Вадиме у молоденькой девушки за регистрационным столом и получила ответ: состояние средней тяжести, опасности для жизни нет, восьмая палата, второй этаж, передачи запрещены, посещения с пяти до семи.

Ирина поднялась на второй этаж по узкой служебной лестнице, но у выхода в коридор ее остановили. Она сидела на подоконнике и ждала...

* * *

Арсенин диктовал. Медленно и внятно, потому что так текла мысль, будто вязкая жидкость из пустеющего сосуда. Он знал, что скоро мысль иссякнет, он сказал уже почти все, что мог, и даже сверх того. Теперь люди станут говорить с Орестеей иначе — на ее языке. На языке этого прозрачного, неощутимого, вездесущего разума. Вот он, единственный разумный обитатель планеты, хозяин ее, вот его тело, освещаемое предрассветными зарницами. Арсенин хотел дожить до утра, чтобы увидеть багровую полосу, зелено-желтые волны рассвета, услышать музыку. И понять, что все было не напрасно.

Он лежал там, где упал, неподалеку от тамбура. Но теперь над ним был прозрачный силовой колпак, надежнее любого скафандра отделивший его от воздуха Орестеи, а под ним — переносная санитарная кровать, напичканная датчиками и инъекторами. Он не мог пошевелиться, потому что неприятно оттягивали кожу трубки, по которым вливался в вены питательный раствор.

Он смотрел вверх — ночь была серой, как всякая ночь на Орестее. Облака, накопившие за день энергию Зубенеша, отдавали ее часть, и это создавало впечатление белой ленинградской ночи, молочной земной ночи, подернутой туманом.

— Все, — сказал Арсенин, когда последняя капля мысли вытекла из мозга, трансформировалась в звук, впиталась блоками памяти. «Все», — подумал он. Он думал о себе, о своей и чужой жизни, о двух жизнях — сегодня и двести лет назад. Он понимал уже, что прочел в мыслях Гребницкого запретное, не додуманное им решение. Хотел связаться с Вадимом, успокоить его, но не было сил. Серое небо, в котором, как он теперь знал, билась мысль триллионов человечеств, было прекрасно, он лежал и смотрел в небо, как в зеркало.

Это он, разум Орестеи, не позволил Арсенину погибнуть в первые же секунды. Арсенин думал о нем, обращался к нему чужой, не своей мыслью, когда сбрасывал свой, а не чужой шлем. Молоточки, бившиеся в мозге, вычитали и поняли эту мысль. Впервые разум Орестеи читал ясное обращение, а не хаос сигналов, предшествующий смерти. Он понял. Наверно, его потрясло это открытие. Но действовал он молниеносно. Когда бот с «Жаворонка» опустился у тамбура, Арсенин оставался живым только потому, что его окружала полость, насыщенная кислородом. Это не был чистый кислород, разум Орестеи не сумел полностью очистить воздух от вредных примесей. Он сделал все, что мог. Значит, понял. Арсенин лишь на мгновение потерял сознание, а очнувшись, увидел, как из поселка спешат аборигены — «пальчики», как назвал он их мысленно. Орестеане не подходили близко, стояли, смотрели, слушали — чужие глаза, чужие уши.

Арсенин не захотел, чтобы его переносили на станцию или в ракету. Хотел лежать здесь и смотреть в небо, в эти чужие разумные глаза. Он уже сказал обо всем,

дал инструкции и теперь мог подумать о себе. О своем месте в жизни. Раньше он не задумывался над этим, жил, как подсказывала интуиция. Пел, потому что нравилось. Искал во времени Гребницкого, говорил с ним, потому что никто больше не мог этого сделать. Он вспомнил Цесевича: «Ты гений контакта, Андрюша... Но... контакта во времени». Он подумал, что очень мало сделал для старика, для его идеи. Разве каждый знает свою истинную дорогу? Разве ведется поиск гениев? Нет и нет. И разве есть задача важнее? Сначала нужно понять себя, найти свой путь, сделаться сильнее. Потом — изменить мир.

Вот Орестея. Разум ее — триллионы человечеств — только просыпается, силы его дремлют, и все же как много он успел. Он познает тайны атома и Вселенной и погибнет через каких-то два или три столетия. Вспыхнет, сгорит. И ничего с этим не сделаешь: можно спасти, вывезти с планеты-лазера аборигенов, эти неразумные пальцы. Но как спасти атмосферу, ведь именно в ее химизме, породившем разум, и заключается смертельная для разума опасность? Не будь в воздухе активных молекул, не возникло бы и лазерного эффекта, но тогда и разум не появился бы. Жизнь и смерть. Разум, который несет в себе собственную гибель. Как спасти?

Внезапная мысль всплыла в сознании. Она успела укорениться, захватила мозг, а когда рассвет стал пунцово-красным и по нижней кромке облаков медленно двинулись оранжевые волны, мысль эта стала наваждением. Арсенин уцепился за нее, потому что только она отделяла сейчас его от потери сознания. «Почему? — думал он. — Почему во всех сеансах я вступал в контакт только с гениями прошлого?»

Ему мучительно захотелось увидеть будущее. Он напряг волю — не так уж много ее осталось — и ощутил знакомые признаки приближения сеанса. Будто теряешь себя и находишь в ком-то. Вот здесь. Белый потолок. Окно с деревянной рамой и белыми занавесками, почти прозрачными. Нежно-зеленые стены с едва заметными потеками белил. Он лежит, как здесь, на Орестее. И такая же боль сосет его.

Это — будущее?

«Здравствуй», — услышал он и только тогда понял.

Слабость обманула его. Он не сумел. Пошел проторенной дорогой — в прошлое. Это Гребницкий лежит на больничной койке, это его, такая знакомая боль вошла сейчас в тело Арсенина. «Назад», — успел подумать Арсенин, но уже не успел вернуться.

• • •

Из коридорчика на лестничной клетке ничего не было видно, но Ирину никто не прогонял, она считала минуты и насчитала их несколько десятков. Голова у нее гудела, ноги подкашивались — с утра во рту не было ни крошки.

Солнце почти не проникало в коридорчик, и скоро здесь стало совсем темно. Бегавшие туда-сюда санитарки и медсестры не обращали на нее внимания, а может, и не замечали в полумраке. Неуловимое изменение Ирина ощутила сразу. То ли тишина в коридоре стала какой-то напряженной, неестественной, то ли слишком долго никто не пробегал мимо. Ирина выглянула в коридор, там было пусто и тихо. Ирина пошла вперед деревянным шагом, ей приходилось держаться руками за стены. Кто-то вышел из палаты в белом, кто-то еще в зеленом. Ирина ничего не слышала, все чувства сосредоточились на приближающейся группе врачей. Они ничего не знали об Арсенине. О будущем. Об Орестее. О ее загадке и трагедии. Разве можно лечить, ничего не зная? А зная — разве можно поверить?

Врачи подошли вплотную и прошли мимо. Никто не оглянулся.

• • •

А где-то в это время заходит солнце. Темнеет. Невидимые колокольчики отбивают в морозном воздухе странную мелодию. Несколько тактов. И потом снова. Еще и еще. Сегодня, завтра и всегда... Сегодня, завтра и всегда... Слышите?

2000000000 ЛЕТ СПУСТЯ

Странно, что я еще живу. Странно, что могу еще чувствовать, желать чего-то.

Я стара. Мой путь — путь угасания, путь в ничто. Но я была стара всегда, я всегда жила и знала, что всегда буду старой, потому что всегда просто буду. Опять и опять возвращаюсь к этой мысли, и моя неспособность управлять сознанием означает, что пришел конец. Сейчас? Конец наступил, когда возникла последовательность событий — время. Неумолимое время, беспощадное время, которое сильнее меня и несет, и тянет меня туда, где меня не будет.

Конец. А что было началом? В прежней жизни я об этом не задумывалась. Я была бессмертной, к чему мне было измерять жизнь ограниченными отрезками?

Мне так хочется вспомнить, понять, как жила прежде, но я знаю, что это невозможно, потому что жизнь моя была тогда бесконечно сложнее, чем я могу сейчас представить, я угасаю, и с этим ничего не поделаешь, и теперь я помню и понимаю лишь ничтожную долю того, что могла помнить и понимать в прежней жизни. Когда я была не одна.

Но я помню главное и не забуду, пока не исчезну. Последней будет мысль о них, равных мне знанием и мудростью. Почему? Почему они играли в игру, которая стала их — и моим — концом? Они появились во мне, когда я этого захотела...

* *

...Они появились, когда Джеф захотел выпить кофе. Он видел уходящий вниз от него амфитеатр пультов и стриженые затылки операторов. Каждый из них был человеком и в то же время обыкновенным датчиком, без

которого не обойтись в сложной системе. А он, Джеф, был на сегодня главным датчиком и чувствовал себя хозяином, стоящим над рабами. Приятное ощущение, минутное, конечно, и сейчас бы еще чашечку кофе.

Кофе уже несли, и в этом не было никакой телепатии. Через час он подумает об обеде, и принесут обед. Система.

Он снял с подноса чашечку, поставил ее перед собой на чуть наклоненную поверхность пульта и увидел, как в нижнем ярусе мониторов, пульт второй слева, оператор Хьюз, замигал желтый сигнал. Джеф бросил взгляд на экран общего слежения — огромный, во всю переднюю стену операторного зала. На экране была привычная мешанина из сотен белых звездочек, двигавшихся по обычным для спутников дугам большого круга. Все объекты были опознаны, классифицированы, велись нормально. Желтый сигнал продолжал мигать, и Джеф перебросил тумблер селектора.

— Первый, — сказал он.

— Сорок второй, — доложил о себе Хьюз, и Джеф увидел сверху, как он подался вперед, ближе к дисплею. — В секторах обзора появилось несколько неклассифицированных объектов.

Секторы обзора вели дальние подступы к Земле. Самые дальние, на пределе возможностей радаров станции Питерсберг. От восьми до десяти тысяч миль.

— Точнее, сорок второй, — недовольно сказал Джеф. — Сколько?

— Было семь, — спокойно отозвался Хьюз. — Сейчас уже восемь.

— Звездочки?

— Нет, кресты. Уже девять.

Звездочками на дисплеях высвечивались активные объекты, которые улавливались по их радиопередачам. Кресты — объекты пассивные, поймать их удается по отраженным сигналам, задача эта сложная, особенно если спутник специально делают из сплавов, плохо отражающих радиоволны.

— Беру картинку, — сказал Джеф.

Экран монитора перед ним почернел, в правом верхнем углу появились цифры с номером квадрата и величиной углового разрешения. В центре — неяркие

белые крестики, их было десять («уже десять», — отметил Джеф), и лежали они довольно кучно, в пределах одного градуса дуги. Новый крестик вспыхиул почти в центре неправильного овала, образованного десятью другими.

Не отрывая взгляда от картинки на дисплее, Джеф допил кофе. Двенадцатый крестик вспыхнул на границе овала. Джеф набрал на пульте кодовые обозначения, обратившись к компьютерам Пентагона с запросом о запусках кассетных спутников. Последовала минутная заминка — системы связи между базой и столицей проверялись иа прослушивание, потом шла сверка кодов, контроль правильности обращения запроса, правомочность самого запроса и еще несколько стаидартных проверок, которые предшествовали выдаче центральиым компьютером секретиой иинформации. Тем временем в глубине овала загорелся тринадцатый крестик.

Ответ, вспыхиувший иа дисплее, заставил Джефа пожать плечами. «Запусков, соответствующих запросу, не производилось, — бежали буквы. — Сообщите причину запроса».

Джеф вызвал комнату отдыха — его подмеияющий, майор Коивей, скорее всего, читал сейчас газеты, растянувшись на диваие. В отличие от Джефа Коивей был потомственным военным и имел твердое намерение дослужиться до генерала. Конвей был неплохим офицером, но внутренняя разболтанность, свойство скорее натуры, чем воспитания, не позволила ему дослужиться в свои тридцать восемь лет хотя бы до полковника. Отец Коивея, говорят, неплохо проявил себя в Корее, дед плавал на какой-то посудине в Атлантике, пока ее не потопили немецкие субмарины, а один из прадедов — но это, вероятно, был фольклор — воевал под иачалом самого генерала Гранта.

Коивей явился меньше чем через минуту. Джеф успел только передать запросы станциям слежения иа Аляске и Гаваях. Конвей молча встал за спиной, делая свои выводы, и Джеф немного расслабился. «Сейчас, — подумал он, — все разъяснится и окажется, что это кто-то из граждаиских запустил научную аппаратуру без согласования с военным ведомством». Редко, ио такое все же случалось.

Так, Аляска ответила. База Диллингем на берегу

Бристольского залива, в тысяче миль к северо-западу от базы Питерсберг. Спутники должны были пройти над ними, да и сейчас еще должны быть видны. Конечно, видны. Тринадцать. Углы, азимуты. Числа. Ни к чему, пусть компьютеры переварят. На Гавайи надежды мало, кассета у них низко над горизонтом. Вот и ответ: они даже не смогли фиксировать все тринадцать. Хорошо. Сейчас будет орбита.

Джеф бодрился, но уже сидел в его мозге червячок сомнения. Не нравилось ему все это. Ощущение было мгновенным и исчезло, потому что Джеф услышал тоненький зуммер тревоги из динамика у левого локтя, почти неслышный, но высотой своей рвавший тишину. Крестики, изображавшие кассету спутников, налились оранжевым соком и запульсировали, а на обзорном экране кассета появилась, обведенная мерцающим следящим овалом. Нанесенный на контур материка, овал закрыл область на границе Аляски и Канады.

Числа, возникшие на дисплее, не могли, как сначала показалось Джефу, иметь к орбите кассеты никакого отношения. Конвей, более опытный, охнул, и Джеф почувствовал у себя на плече его жесткие пальцы. Орбита была слепой и разомкнутой. Она начиналась в бесконечности и кончалась, упираясь в поверхность планеты где-то на востоке, и эту расчетную точку падения компьютеры пока затруднялись выдать однозначно. Ясно было одно: спутники упадут, и значит, это, собственно, и не спутники, а баллистические снаряды, запущенные с определенной и очевидной целью.

Голова у Джефа неожиданно стала ясной, как океан после шторма, и в ней, как это изредка бывало, наплывали, не мешая друг другу, сразу несколько мыслей. Он вспомнил, как они прощались с Дэйв в Бостоне месяц назад, и мать свою вспомнил — как он ехал с ней в автомобиле из Онтарио в Бостон, а она, уже тогда смертельно больная, давала торопливые и ненужные ему советы. И была еще третья мысль — единственно нужная сейчас. Инструкция.

Действуя согласно этой инструкции, Джеф перевел резервные терминалы в состояние готовности. Весь первый ряд дисплеев — восемь пультов. Каждый из операторов обрабатывал теперь определенный срез парамет-

ров кассеты, а Джеф осуществлял общий контроль и должен был принять решение.

Конвей сидел, сосредоточенный, за резервным пультом руководителя смены справа от Джефа. Он молчал и не вмешивался. Он поможет, если будет нужно.

Числа на дисплее постоянно менялись, кружились около вполне уже проявившихся значений. Остановились.

Орбита. Нет, не разомкнутая. Очень высокоапогейная траектория. Большая ось — сто пятьдесят тысяч миль. Почти парабола. Центр эллипса рассеяния лежал где-то в штате Южная Каролина, но разброс достигал Арканзаса на западе и штата Нью-Йорк на севере. На востоке эллипс упирался в Атлантику. Все Атлантическое побережье страны было под угрозой. Под угрозой чего?

Выбор возможностей невелик. Метеоры. Пришельцы. Русские. Не ему, Джефу, анализировать. Но, в общем, и так ясно. Железный метеорный рой такой кучности и такого, судя по отраженному сигналу, высокого содержания металла — ерунда. Впрочем, он не астроном. А там, в Пентагоне, астрономы? Нет, и они тоже обхохочутся, скажи им про метеоры или о зеленых человечках, спешащих на Землю в своих тарелочках. Значит...

Мысли, прежде четкие и выпуклые, смялись и закружились в мозгу. Он должен дать общую тревогу. Ее давали на памяти Джефа только один раз, это была учебная тревога и руководил ею сам генерал Джулковски, командир базы. Джеф контролировал запуски на своем пульте. Запусков было много. Стратегические бомбардировщики с европейских баз. Волна за волной. Ракеты. Отсюда, из восточных штатов, но больше всего с европейских баз. И еще с борта субмарин. И все это называлось инсценировкой ответного удара. Никакого спасения. Никакого. Генерала нет на базе, и решать должен он, Джеф, и тогда цепь замкнется, и все будет как на учениях, с одной только разницей — все будет всерьез.

Джеф подумал, что пальцы его сами сделали все необходимое, пока он медлил, размышляя о последствиях. «Общая боевая тревога», — бежали по дисплею алые буквы. Он не набирал кода! Джеф посмотрел на свои ладони. Он посмотрел на Конвея. Пальцы майора спокойно лежали на клавиатуре. «Это он», — понял Джеф. «Господ-

ди,— подумал он,— господи... Если суждено выжить... запомню навсегда... руки Ларри Конвея ...спокойный жест...»

Джеф знал, что не поступок майора определит в конечном счете судьбу планеты и что еще много военных и политиков там, на самом верху, будут в ближайший час биться над дилеммой войны и мира. Но для него война началась и кончилась здесь и сейчас.

«Жить,— думал он,— жить...»

* * *

...Жить. Я угасну, но есть еще время. Я должна вспомнить. Разобраться в себе. Сейчас я могу только строить гипотезы. Гипотезы о собственном прошлом! Будет хуже. Я забуду и это. Исчезнет мысль, останутся одни ощущения, а потом...

Я знаю, что была иной. Но какой? Я управляла материей с помощью законов, которые сама и создавала. Я подчиняла этим законам движение атомов... Атомов? Разве тогда были атомы? И было движение?

Это во мне нынешней, исковерканной взрывом, есть атомы, частицы, поля. Есть движения, потому что есть последовательность событий. Время. Я уже не могу существовать вне времени. Что же было, когда времени попросту не существовало? Не могу себе представить. Была я. И были они — разумные, плод моей фантазии, мои создания. Это было прекрасно. Кажется, мы спорили. Должны были спорить, иначе зачем общение? О чем мы спорили? О бытии? О действии? Что мы знали о действии? Действие развивается во времени. А время появилось, когда они взорвали свой мир. Меня.

Единственное, что объединяет меня нынешнюю с той, что была и погибла, — материя. Она была, есть и будет даже тогда, когда мой разум окончательно угаснет. Впрочем, само понятие материальности могло быть — и наверняка было! — иным. Электромагнетизм, ядерные силы, тяготение — все это возникло после взрыва и стало символом моего угасания...

Неужели я никогда не смогу понять, почему они сделали это? Почему своей волей разрушили себя, разрушили меня, разрушили мир? Может, это была одна из наших игр, в которых создавались разные логики и зако-

ны, и случилось так... Они, жившие вне времени, захотели создать время, чтобы управлять им...

* * *

...Генерал Хэйлуорд четко организовывал свое время и управлял им. В свои шестьдесят лет он выглядел на сорок, а чувствовал себя еще моложе, до сих пор не избавившись от многих привычек, свойственных скорее юному возрасту.

Сегодня он собрался с женой в театр на Потомаке — новомодное заведение, о котором говорили, что оно вот-вот прогорит, и которое горело таким образом уже третий сезон, делая рекламу на своем ожидаемом банкротстве. Хэйлуорд раздраженно перебирал рубашки. Маргарет, впрочем, тоже была не готова, но ее ждать не придется — она давно приучила себя к мысли, что жена военного должна быть во всем точной.

Хэйлуорд выбрал яркую зеленую рубашку с оранжевыми полосами и, для контраста, строгих тонов галстук. Низко, басом, будто корабль в тумане, загудел телефон. Это был телефон спецсвязи, и звонил он не так уж редко, но всегда не вовремя.

Хэйлуорд поднял трубку, другой рукой придерживая незавязанную петлю галстука, но говорить не стал, подождал несколько секунд, пока не услышал два тонких гудочка — сигнал, что линия чиста от прослушивания.

— Хэйлуорд, — буркнул он нарочито недовольным тоном.

— Полковник Ричардсон, — представился дежурный офицер. — Тревога-ноль, сэр.

— Еду, — механически отозвался генерал и положил трубку. Он тотчас поднял ее и набрал шестерку. Галстук змеей свернулся на полу.

— Простите, полковник, — сказал Хэйлуорд. — Докладывайте.

— Тревога-ноль, сэр, объявлена службой дальнего обнаружения ПВО по данным станции слежения Питерсберг. Обнаружена кассета баллистических аппаратов, соответствующих по оцененной массе ядерным боеголовкам от десяти до тридцати мегатонн. Траектория слепая, эллипс рассеяния покрывает восточное побережье с центром в штате Южная Каролина. Расчетное время пора-

жения — семнадцать сорок две по вашингтонскому времени. Войска ПВО в полной готовности, противоракеты на стартовых позициях. По уточненным данным, пуск мог быть произведен пятнадцать суток назад из точки Индийского океана в пятистах милях к югу от австралийского острова Херд. Если, конечно, не было существенных коррекций траектории в полете.

— Я еду в бункер, — сказал Хэйлуорд.

— Вертолет за вами послан, сэр.

— Министр?

— Возвращается из Хьюстона и сейчас летит над Луизианой. С ним поддерживается постоянная связь.

Хэйлуорд прислушался. За окном нарастал рокот — вертолет с опознавательными знаками комитета начальников штабов завис над квадратом посадочной площадки перед входом в дом. «Вот и все», — подумал Хэйлуорд.

Все было по плану, разработанному при его, Хэйлуорда, личном участии. Все делалось так, как и должно было делаться в случае неожиданного ракетного удара русских. В душе Хэйлуорд никогда не верил, что план этот может быть пущен в ход в реальной боевой обстановке. Никаких войсковых передвижений, никакой видимой подготовки ни у кого в последнее время не было. Просто некто, плывущий на чем-то где-то на юге Индийского океана, нажал две недели назад кнопку пуска, и на орбиту пошла кассета, а наши наблюдатели не заметили. Две недели. Две недели назад Хэйлуорд был с Маргарет в Кэмп-Дэвиде, в гостях у президента, вместе с министром. Они обговаривали бюджет на будущий год, полагая, что будущий год наступит. И Маргарет играла в бридж с Каролиной Купер.

«О чем это я?» — подумал Хэйлуорд. Он будто вырубился на минуту, но уже пришел в себя. Пошел к двери, наступил на галстук и на ходу застегнул все пуговицы гражданского пиджака, совершенно нелепого в этой обстановке.

— Мардж! — крикнул он. Жена что-то ответила из своей комнаты, он не расслышал, но заходить к ней не стал. О ней позаботятся, под домом неплохое убежище, хотя если эпицентр окажется слишком близко... Дочери! Вечно они носятся по своим делам, теперь их не отыщешь, и они узнают о тревоге из оглушающего воя сирен.

Хэйлуорд пробежал через дворик, и машина круто пошла вверх, едва он влез в кабину. Он успел заметить, как Маргарет высунулась из окна, и ему даже показалось, что взгляд у жены непонимающий и обиженный.

Хэйлуорд сел к дешифратору — радиограммы на его имя шли потоком. Станция слежения Питерсберг. Пропустим. Так. Работа по тревоге. Нормально. Никаких сбоев. Новых запусков у русских нет. Хэйлуорд подумал, что начинает понимать замысел противника. Если русские намерены нанести массированный удар одновременно с этим, единичным, то для пуска ракет с подводных лодок и даже с собственной территории у них еще есть время. Возможно, кассета — умный маневр, рассчитанный на то, что противоракетная система будет ослаблена необходимостью уничтожения этой цели?

Вертолет пошел на снижение, под ним был вересковый пустырь, на котором, будто бросая вызов генералу, паслось стадо коров. Распугивая животных, машина села у старого двухэтажного коттеджа. Здесь был вход в бункер комитета начальников штабов, расположенный под бетонными и свинцовыми перекрытиями на глубине трехсот футов.

Хлипкая на вид дверь коттеджа распахнулась, генерал вошел, не чувствуя под собой ног, предъявил личный жетон и направился к лифту, постепенно приходя в себя. Выходя из лифта на нижнем ярусе, он опять подумал о дочерях и о том, что он обязан уничтожить кассету, иначе его девочек не спасет никакая молитва.

Генерал бегом миновал четыре поста проверки — на это ушла целая минута — влетел в командный пункт, одним взглядом убедился, что почти все начальники штабов на местах.

Взгляд на дисплеи — противоракеты стартовали.

— Мы взяли большое упреждение, — сказал генерал Ланс, — потому что кассета идет по очень крутой траектории. Мы поразим ее на высоте двух тысяч миль.

Он не добавил «вероятно», но тон его не обманул Хэйлуорда.

— Подождем, — буркнул Хэйлуорд, понимая, что сейчас слова ни к чему. Все, что нужно было сделать по тревоге-ноль, сделано без него.

— Видимо, — сказал Ланс, не глядя на Хэйлуорда, —

придется просить санкцию на вариант «Трамплин».

— Знаю, — сказал Хэйлуорд. В крайней ситуации он и сам имел право дать такую санкцию, но брать сейчас ответственность на себя не был намерен, потому что «Трамплин» означал начало массированного ответного удара, после которого остановить ядерный конфликт было бы уже почти невозможно.

— Где сейчас президент? — спросил он в пространство.

— На приеме в британском посольстве, — ответил кто-то.

Противоракеты шли к цели. На дисплее это выглядело удручающе медленным сближением красных огоньков с белыми. Осталось тридцать шесть минут до удара по побережью, кассета уже над Вайомингом. Цель взята. Неслышно и почти невидимо в ярком дневном свете рвались высоко над атмосферой ядерные заряды. Рвались бесполезно. Белых точек на дисплее становилось все меньше, а красные шли сквозь возникавшие прорехи неумолимо и спокойно.

Хэйлуорд повел головой, ему почему-то не хватало воздуха. Ну, бывало такое даже на учениях, проходили ракеты противника сквозь расставленные сети, все может случиться, на то война. Собственно, он только теперь и понял окончательно, что это война.

— О'кэй, — сказал Хэйлуорд, вставая. Он наконец нашел себя, нашел то единственное душевное состояние, в котором и должен был находиться с того момента, когда поднял трубку телефона спецсвязи. Все ушло, все прошло.

— Дайте мне прямую с президентом, — сказал он. — Нет времени говорить речи, господа. Мы — люди действия. Нация ждет, что мы спасем ее. В этом наш долг.

Он и сам верил в то, что говорил...

* * *

...Я и сама верила в это. Верила, что жизнь прекрасна, особенно когда заполнена размышлениями.

Сразу после взрыва, в котором погибли они, разумные, я еще могла как-то управлять собой. Еще не оправившись от невыносимой боли, я сообразила, что если хочу хотя бы растянуть агонию, то должна создать в себе сгустки

вещества. Тогда станет возможным хоть какое-то развитие, а не только унылое угасание всех процессов. Если бы я не сообразила этого, сейчас не существовало бы ни квазаров, ни галактик, ни звезд, ни планет — ничего, кроме однородного расширяющегося плазменного шара, который и был бы мной. Сознание мое угасло бы, я была бы мертва.

А хорошо ли, что я живу? Когда из плазменных сгустков тяготение сформировало квазары, я думала, что они смогут стать разумными и мое одиночество кончится. Этого не случилось, и я поняла, что этого не произойдет никогда. Потом появились галактики, и это было настоящей бедой, потому что галактики и звезды — лишь следы могущества, источники боли и сожаления. Галактики погибали, звезды взрывались, повторяя мой конец, но с еще более плачевным результатом — они превращались в черные дыры, материя ускользала в них, и что-то еще во мне постоянно отмирало, и мне не удавалось...

* * *

...Прием не удался. Время двигалось слишком медленно, а речи были на удивление монотонны. Правда, явились все приглашенные — особенно интересовала президента группа сенаторов от северных штатов, традиционных противников его политики. Сегодня он мог бы кое в чем поколебать их настороженность. У него есть что сказать, но толку не будет. Утром у посла Томпсона случился приступ печени, его едва не положили в госпиталь, и уж, конечно, ему следовало отменить торжество. Посол сидел весь желтый и поминутно исчезал в своем кабинете — отдыхал на диванчике. В речах не чувствовалось блеска, прием напоминал фильм, снятый на старой пленке, не передающей богатства красок.

Кое с кем Купер все же переговорил. Президент не пренебрегал ничьей поддержкой, пусть даже от людей, на которых он тратил время, зависело немногое. Сейчас немногое, а завтра?

Размышляя о проблемах экономики и политики, Купер оперировал обычно терминами теории игр. Эту теорию он изучил в Кембридже и очень гордился тем, что единственный из президентов имеет законченное математическое образование. Он даже едва не стал доктором

философии. Хорошо, что не стал. Его увлекла тогда другая наука — наука не проигрывать. Она оказалась куда важнее и интереснее науки побеждать. Парадокс? Играя на выигрыш, часто остаешься в накладе, потому что в такой игре больше степень необходимого риска. Если же опираться на стратегию беспроигрышной игры, то риск минимален, а преимущества, на первый взгляд неочевидные, огромны. Не проигрывая, идешь вверх без срывов, хотя и без стремительных взлетов. Напряженно, как автомобиль на горной дороге, но и равномерно.

Тридцать три года он шел к своей первой президентской предвыборной кампании. Газеты рассказывали о его политической карьере как о ярком примере стабильности американской системы. Никаких срывов. Только вверх. В наследство от предыдущей администрации Купер получил разболтанную экономику и даже с помощью своей любимой теории игр не мог нащупать здесь беспроигрышную стратегию. Его предшественники обещали избавить страну от кризисов, повысить уровень жизни, он этого не обещал. Но он твердо гарантировал стабильность инфляции, ее прогнозируемость.

К внешней политике Купер не испытывал пристрастия, свойственного многим президентам. Он принял в наследство несколько тянувшихся годами переговоров по разного рода ограничениям в военной области, но завершать их не собирался. Договора пусть подписывают те, кто когда-нибудь займет его место...

Закончил свой короткий спич сенатор Хойл. Президент в двадцатый раз посмотрел на часы, потом на спину посла Томпсона, который опять направился в свой кабинет, и в этот момент взвыли сирены.

Купер поморщился — тревога была третьей в этом году. Конечно, гражданское население должно учиться заботам о своей безопасности. Однако прежде ему сообщали о тревогах заранее. Купер с улыбкой смотрел на обеспокоенные лица гостей. Бедняга посол так и не дотащился до желанного дивана, стоит согнувшись, и выражение на его лице удивленное до крайности. А чему тут... И неожиданно президент понял, что тревога не учебная. В вое сирен прослушивался медленный ритм — это выли боевые сирены, скрытые за рекламными щитами на пере-

крестках. И через комнату, расталкивая сенаторов, бежал офицер службы безопасности.

Купер встал. «Ошибка, — подумал он. — Боевая тревога в столице — смешно. Завтра во всех газетах появятся карикатуры на президента. Ракеты красных над Капитолием. Бред для обывателя».

— Сэр, — сказал офицер службы безопасности, внешне совершенно спокойный. — Прошу вас, сэр.

Он, вероятно, понял, что президент еще не вышел из оцепенения, подхватил его под локоть и легко толкнул к двери. Купер прошел сквозь расступающуюся толпу, глядя в пол. За дверью его ждал майор Крэмптон, дежурный офицер «войны и мира» с неизменным черным дипломатом в руке. Агенты из личной охраны уже проложили свободную дорогу по широченной, как бульвар Вашингтона, лестнице, и Купер сбежал по ней к бронированному лимузину, стоявшему впритык к подъезду.

Он вспомнил, что Каролина осталась в посольстве. Вспомнил и забыл.

Едва он опустился на заднее сиденье, машина рванулась и понеслась по необычно пустынным улицам Вашингтона, сопровождаемая эскортом охранения и немолкающим воем боевых сирен.

— Что это значит, черт возьми? — обернулся Купер к Крэмптону, занявшему свое обычное место в углу салона у левой дверцы.

— Боевая тревога, господин президент, — отрапортовал майор. — Генерал Хэйлуорд запрашивает санкцию на «Трамплин».

Голос Хэйлуорда был чист от помех и вроде бы спокоен. Докладывал он кратко и четко. Ничего лишнего, но из слов генерала следовало, что «Трамплин» — естественная необходимость. Ответный удар.

— Ошибка исключена? — спросил Купер. Машина резко затормозила у восточного входа в Белый дом. Президент не пошевелился. Времени на беготню по коридорам не оставалось. Он должен принять решение здесь и сейчас.

— Ошибка исключена, — сказал Хэйлуорд. — На кассету пошла вторая волна противоракет, но перехват становится все менее вероятным.

Решение. Купер всю жизнь карабкался вверх по

чужим спинам и оказался перед выбором. Он должен выбрать так, чтобы не проиграть.

Ответный удар. Это будет справедливо. Это будет соответствовать директивам комитета начальников штабов. Он сам утверждал их. Он знал, что поступил правильно, и думал о том, что суть подписанного им документа ни в коем случае не должна просочиться в прессу. Потому что одним из пунктов он отвергал любые сношения с Москвой, будь то по телефону или иным способом, в случае объявления тревоги-ноль. Единственной возможной реакцией на нападение должен быть массированный ответный удар.

Купер никогда не проигрывал, но сейчас — он знал это — проиграл самую важную битву. Если он отдаст приказ — он проиграл. Мир погибнет, и он, президент, будет править руинами и трупами. Если выживет сам. Если он не отдаст приказа — он проиграл как государственный деятель. Подписавший директиву и не выполнивший ее. Струсивший. Конченый человек.

Купер достал из левого нагрудного кармана бумажник и вытянул из него личную карточку с шифрами. Крэмптон услужливо положил свой дипломат на колени президента, протянул трубку радиотелефона. Купер откашлялся.

— Говорит президент, — начал он. — Подтверждаю...

* * *

...Подтверждаю прошлое лишь аналогиями. Только по аналогии я могу понять, что было в моей жизни до взрыва. Но разве есть аналогия между жизнью и смертью? Я знаю, что все было пронизано разумом, но какими они были, разумные?

Когда я думаю о прошлом, что-то во мне меркнет. Чаще — хотя я вовсе не желаю этого! — умирают звезды, и даже кажется, что галактики разбегаются быстрее, ускоряя мой конец. Это, конечно, невозможно — разбегание галактик не зависит от моей воли. Все расширяется, все распадается...

Не надо об этом. Моя мысль опять сосредоточилась на...

* * *

...Машина свернула на улицу Ветеранов и помчалась вдоль трамвайной линии, обгоняя красно-желтые вагончики.

Сейчас шофер повернет направо — вот повернул, и через два дома откроется дощатый забор — вот открылся, но уже не дощатый, а сплетенный из тонких чугунных прутьев, обвитых плющом. Машина медленно въехала в аллею. Скрипел гравий, в парадном строю стояли ели.

Генерал Сахнин вошел в сумрачный холл. Он оробел. Он всегда робел в больницах и госпиталях, сам не зная почему. Натянув халат, он поднялся на второй этаж.

Отец лежал в палате один, кровать стояла у окна. Внешне отец почти не изменился — даже морщин не прибавилось. Сахнин хотел наклониться, поцеловать его, но раздумал, вспомнив несентиментальный его характер, и сел на стул у изголовья.

— Форма твоя что ли действует? — сказал отец.

Сахнин удивленно поднял брови.

— В такое время не пускают, — пояснил отец. — Спят все.

Сахнина пропустили, потому что главврачу позвонил сам министр. Тихим своим голосом он объяснил, что сын больного Сахнина прибыл в Москву по делам службы на несколько часов и нельзя ли в виде исключения...

— Не беспокойся обо мне, — сказал отец. — Врачи здесь прекрасные, а я послушный больной. Выкарабкаюсь. От инфарктов сейчас помирают редко...

— Я пришлю Жанну, — сказал Сахнин. — Она побудет с тобой.

— Жена должна быть при муже, а не при свекре... Что-нибудь случилось?

— Что? — не понял Сахнин.

— Ты явился в Москву на считанные часы. Не из-за меня же?

— Обычный отчет, — Сахнин пожал плечами.

Это не был обычный отчет. Было совещание в Генштабе, и все слушали его, Сахнина, доклад. Он говорил странные и страшные вещи.

— Слава, — сказал отец, — ты там у себя читаешь газеты? Телевизор смотришь?

Отец попытался повернуться на бок, чтобы лучше видеть сына, и Сахнин мягко удержал его. Он знал, о чем пойдет разговор.

— Что за представление устроил Купер в пятницу? Это ведь по твоей части.

— А что пишут? — осторожно спросил Сахнин.

— Ерунду. Ты что, не знаешь? По одним сообщениям американцы устроили крупную тревогу с имитацией нападения советских ракет, по другим, — это была не имитация. В общем, бред. Атомные взрывы в космосе — это тоже утка или факт?

— Говорят, вроде факт...

— Ну ладно, — рассердился отец. — Вроде говорят... Напускаете туману.

— Не сердись, — миролюбиво сказал Сахнин. — Я действительно мало знаю. Это ведь не у нас было, а там. Не волнуйся. Поговорим о другом.

Знал он, конечно, много. Однако только сейчас, после совещания, ход событий стал ему ясен окончательно. Начиная с того раннего утреннего часа, когда домой позвонили из штаба ПВО округа. На станции дальнего обнаружения было ЧП. Металлическое тело, хорошо отражающее радиоволны, двигалось из дальнего космоса под большим углом к эклиптике. Обогнув Землю над Тихим океаном, оно должно было удалиться восвояси. «При чем здесь ПВО?» — сказал он, еще не представляя, что начнется в ближайшие часы. «Тело меняет орбиту, — сказали ему, — высота расчетного перигея уменьшается. Значит, тело искусственное. Ракета». Тогда он оделся и поехал в штаб.

— Не завидую твоей службе, — сказал отец. — Постоянное напряжение, даже когда мир. Среди генералов, наверное, тоже много инфарктников? Эта мысль, к слову, как-то примиряет меня с твоей профессией. Поздно, конечно...

Сахнин улыбнулся. В свое время отец и слышать не хотел о том, чтобы Славка пошел в военное училище. Но тут был вопрос принципа. Сахнин был воспитан в твердости, отец сам же и учил его стоять на своем до конца. Сказав «нет», отец потом не вмешивался, делал вид, будто ничем, кроме своей астрофизики, не интересуется. Но с тех пор между ними был холодок. Сахнин вел кочевой образ жизни, за первые десять лет они с Жанной переменили не меньше дюжины городов и поселков — служба, ничего не поделаешь. С родителями

виделся редко. Мать умерла давно, еще не старой, отец вдовствует четверть века, с головой ушел в работу, что-то публиковал и, говорят, был добрейшим экзаменатором. С его мнением считались. В чем это мнение состояло, Сахнин не знал, устройство Вселенной было слишком далеко от его сугубо земных забот. С отцом виделся один-два раза в год во время наездов в Москву. Беседовали дружески, но что-то оставалось недосказанным и невысказанным.

— Папа, — Сахнин запнулся. Отец взглянул с усмешкой, и Сахнин повторил: — Папа, я знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь об инфарктах у генералов. Конечно, лучше, когда военные умирают в постели, а не в бою. Наверно, у нас единственная на земле профессия, в которой чувствуешь себя счастливым, если не представляется случая применить знания на деле.

— Слишком много у вас знаний, — сказал отец, — и слишком еще много возможностей их применять... Помнишь, как я злился, когда ты в детстве играл в войну? Я всегда думал, что нет ничего хуже, чем автомат в руках ребенка. Пусть игрушечный.

— Ты бы не волновался... папа, — торопливо сказал Сахнин.

— Не перебивай, я сам знаю, что мне можно. Хочу объяснить. Было это весной сорок пятого, — отец говорил, отвернувшись к окну, будто для себя. Вспоминал и рассказывал: — Мы тогда прошли Верхнюю Силезию, и меня ранило в плечо. Госпиталь был в небольшой польской деревушке. Два десятка дворов. Передовая недалеко, когда били пушки, то стекла звенели... Весна. Лес рядом, за домами. Сосны в основном. Деревья частью сожжены, но лес жил. Зайдешь в чащу и теряешься. Я не лежал, рана была пустяковой, я ходил и ныл. Просился в часть... Да, дети, ребятишки. Они играли на опушке, между домами и лесом. Вдруг выстрелы. Мы не сразу поняли. Подбежали — двое ребят уже мертвые. Остальные разбежались. Только девочка лет восьми. Над братом. Плачет. Шальные выстрелы? Откуда? Не шальные. Обе очереди в голову. Точный прицел. Какая-то, думаем, сволочь, не удравшая со своими. Ребята из охранения прочесали лес. Ничего... На другое утро одного пацана наповал уложило прямо у двери дома. Одной очередью. Из леса. Стрелок

был отменный... Пока искали, он застрелил девочку, ту самую, что убивалась по брату. В детей стрелял! Только в детей... К вечеру мы его взяли. Не живым. Ребята били наугад по соснам. Попали случайно. И он упал. Это... Мальчишка. Из гитлерюгенда. Лет десять, не больше. Как он только шмайссер поднимал? Почему он стрелял в детей? Я долго думал. Тогда и потом. Может, он воображал, что это игра? С тех пор, если я видел мальчишку с автоматом или пистолетом — конечно, это были игрушки, — что-то подступало, я не мог... Я сжег бы все игрушечное оружие... Когда ты начал копить деньги и покупал себе тайком пистолет с пистонами или ружье... Если бы не мама, я бы тебя лупил. Она тоже ничего не понимала, бедная... А на фронт я больше не попал. Сразу после войны всерьез занялся космологией. Из-за того мальчишки, представь. Сейчас трудно объяснить связь. Мысли, ассоциации, с пятого на десятое...

Сахнин слушал — это был первый на его памяти монолог отца.

— Второй день, — говорил отец, — как меня из реанимации перевели, я лежу и думаю. Думать не запрещают. А запретят — не проверят. О работе думать трудно. Думаю о причинах. Да... Помню, мысль была такая. Игры детей с оружием разрушают их мир. Их вселенную. Вселенную сказок со своими законами. Особую вселенную детства. И игры взрослых с оружием тоже разрушают мир. Реальную вселенную. Каждый наш выстрел нарушает что-то в гармонии мироздания и законах природы. Убивая друг друга, мы убиваем Вселенную. И все идет от порядка к хаосу... Смешно?

Сахнин не смеялся, он только удивился наивности этой мысли.

— От наивности я и пошел учиться на астронома, — сказал отец. — От наивности и желания понять мир, чтобы исправить его... Я тебя спрашивал о пятнице. Тогда, ночью, я тоже думал об этом. Лежал дома без сна, читал газеты. Кризисы, горячие точки... Я подумал: мы ведь часть Вселенной, может, ее единственная разумная часть. И что станет со Вселенной, если мы уничтожим себя? Тут меня и прихватило.

«Ну и ассоциации, — подумал Сахнин. — Действительно, космология».

— Папа, — сказал он. — Все обошлось «(Да, — подумал он, — кажется, действительно все обошлось)». Ты жив, значит, все в порядке («И мы живы,— подумал он,— все живы, а могло быть иначе»).

Вошла медсестра, решительно, не обращая внимания на Сахнина. Склонилась над отцом. Градусник, таблетки, микстура, укол. Сахнин ждал.

В пятницу на КП округа он тоже ждал. В семь двадцать местного времени орбита неизвестного тела стала эллипсом, и неожиданно тело распалось на тринадцать частей. Локаторы вели уверенно, орбита рассчитывалась непрерывно и наконец стала стабильной. Стабильной и слепой. Метеоры должны были упасть, и Сахнин с облегчением вздохнул, когда понял, что упадут они где-то на востоке Американского континента. Облегчение было минутным, просто реакцией на долгое напряжение. Новая ситуация была безнадежно хуже. Если это были бы не метеоры, а разделяемая боеголовка, и если бы она шла на него, он мог ее уничтожить. А теперь в его положении окажутся американские генералы. Если их службы вели объект еще тогда, когда его орбита была гиперболической и нестабильной, они могли бы сомневаться. Но не сейчас. Сахнин знал уже, что анализ траектории покажет, что объект мог быть запущен с Земли, из южной части Индийского океана. Конечно, никто у нас даже и помыслить не мог о подобном запуске. Но там, в Пентагоне, решат иначе.

Он объявил по округу боевую тревогу. В Москве было за полночь, но решение последовало незамедлительно. Тревога была объявлена на всей территории. Пытались связаться с Белым домом по линии прямой связи, но безуспешно. Сахнин и не предполагал, что телефон поможет. Последние президенты — и Купер в их числе — делали ставку на сворачивание отношений, надежная связь была для них помехой.

Космические тела шли над территорией Британской Колумбии. Сахнин все еще мог сбить их сам, продемонстрировав, что это не наши объекты, но он понимал, что ответный удар, и не по космическим телам, а по наземным целям в нашей стране, последует, едва ракеты покинут пусковые установки. Надежда была лишь на благоразумие Купера и на то, что линия связи заработает...

— Еще недолго, пожалуйста, — тихо сказала медсестра, выходя из палаты.

— Торопишься? — отец перехватил беглый взгляд, брошенный Сахниным на часы. — Не обессудь, я задержу тебя еще на полчаса и растолкую все, чтобы ты потом не ломал голову. Постараюсь короче... Я говорил, что природные катастрофы — следствие чьей-то злой воли. С этой меркой я подходил ко всему...

— Даже к вулканам и землетрясениям, — усмехнулся Сахнин.

— Даже к взрывам звезд, — сказал отец.

Он не шутил. «Какая связь, — подумал Сахнин, — между сумасшедшим немецким мальчишкой и взрывами звезд? Разве что эмоциональная связь нравственного разрушения в душе человека с физическим разрушением в природе? Но отец говорит, кажется, о связи прямой, непосредственной...»

— Да, звезды... И больше. Когда я изучал в университете космологические гипотезы, лектор, помню, в пух и прах разносил теорию первичного атома аббата Леметра. Взрыв Вселенной... И я тогда решил, что первичный атом, если он был когда-то, взорвали разумные существа. Не бог, конечно, а люди. Вселенная наша расширяется. А что было до начала расширения? Первичный атом, кокон. Почему он взорвался? Я знал о работах Фридмана, но красивые математически, они не убеждали меня. И я решил, что этот самый ужасающий из всех мыслимых в природе взрывов устроили те, кто в этом коконе жил.

«Отец всегда был добропорядочным ученым», — подумал Сахнин. Он сам много раз слышал, как коллеги говорили, что у отца ясная мысль, научная четкость, доказательность. В том, что говорил отец сейчас, ничего этого не было. Или не было для него, Сахнина?

— Странная интерпретация, — сказал он. — Какая-то... ненаучная.

— Что ты знаешь о науке? — сказал отец с осуждением. — Впрочем, я не в упрек. Ты вот генералом стал, а я даже в доктора не выбился.

Это был неожиданный поворот в разговоре. Отец действительно до старости остался кандидатом наук, хотя, если верить ученикам, давно мог стать доктором.

Не хотел. Так говорили, и Сахнин в этом сильно сомневался.

— Я всю жизнь работал над одной-единственной проблемой, — сказал отец. — Всю жизнь. Над одной. Остальное было вторично.

И такое объяснение не убеждало. Оно не вязалось с представлением Сахнина о современной науке, да и с образом жизни отца тоже. Отец вовсе не был анахоретом, корпевшим в тиши над таинственной рукописью, как в дурных романах. Он часто работал дома, но к нему приходили коллеги, ученики, они спорили о чем-то своем, на много световых лет удаленном от его, Сахнина, интересов. Отец работал и за полночь, когда все спали, и Сахнин знал, что он готовится к лекциям. Ничего таинственного.

— Я тебе объясню, — сказал отец, вздохнув. — Сорок девятый год. Именно тогда я понял, что кокон Вселенной взорвали разумные. Горячая модель Вселенной тоже появилась в сорок девятом, и отношение к ней было... не очень... Мог я писать о своей идее? Я хотел найти первопричины. А мы еще и следствий толком не знали. Разбегаются ли галактики? Как они возникли? Что было раньше? И еще раньше, когда от начала расширения Вселенной прошли мгновения? А потом перейти рубеж и спросить — что было до? И было ли? Я утверждаю — было. Был мир разумных, уничтоживший себя.

— Схоластика, — буркнул Сахнин.

— Наука, — поправил отец. — Игра на пределе возможностей — это еще наука. Чтобы доказать свою идею, я должен был начать с современного мироздания и двигаться вспять по времени. Что я и делал. Сначала занимался происхождением галактик. Потом, в начале шестидесятых, открыли квазары, и я занялся квазарами. Потом — реликтовым излучением. Потом — квантовой теорией тяготения, самыми ранними стадиями расширения, первыми микросекундами. Днем я, как все космологи, шел мелкими шагами к той цели, которой давно интуитивно достиг. А ночами, когда вы спали, я решал обратную задачу. Я знал, какой была Вселенная до взрыва, и пытался описать ее. Бесконечно разумную. Наверно, лет двадцать назад я мог бы уже кое-что опубликовать. Но... Великая вещь — научная репутация. Я завоевал ее.

И теперь боялся потерять. Я бы не вынес, если бы надо мной смеялись...

— Я не очень понял, — осторожно сказал Сахнин. — Еще до появления нашей Вселенной, до взрыва, было нечто... Ну, тоже Вселенная? Другая? И в ней разумные существа, такие могучие, что смогли уничтожить весь свой мир, свою Вселенную? Сделали это и погибли? И тогда появился наш мир? И значит, наша Вселенная — это труп той, прежней, что была живой? И галактики — это осколки, след удара, нечто вроде гриба от атомного взрыва?

— Ну... Примерно так. На деле все гораздо сложнее. Сейчас считается, что наша Вселенная возникла двадцать миллиардов лет назад, и это было началом всех начал. А я говорю, что это был конец. Конец света. Вселенная до взрыва была бесконечно сложным, бесконечно непонятным и бесконечно разумным миром. Действовали иные законы природы, иные причинно-следственные связи. Материя была иной. Мысль, разум, а не мертвое движение, как сейчас, были ее основными атрибутами. Вселенная целиком была разумной. У меня получилось, что после взрыва, когда все начало разбегаться, распадаться, Вселенная должна была еще жить, мыслить. Особенно в первые часы, годы... Должна была умирать постепенно... по мере расширения... умирать мучительно... может, она и сейчас еще мыслит...

Отец говорил все более бессвязно, слова набегали друг на друга, что-то выплескивалось из души, хранимое многие годы.

— И в этой Вселенной, умирающей от ран, неожиданно опять появился разум. Мы. Слабый огонек. Через много тысячелетий мы, может быть, сравняемся могуществом, властью над природой с теми, погибшими... Но что же происходит с нами? С древних времен мы делаем все, чтобы повторить их трагедию. Почему?

— Мы? — сказал Сахнин.

— Мы, люди. Ты скажешь, что ни ты, ни я, никто из нас не отвечает за действия того же Купера. Но что до этого будущему, которое может не наступить? В очень сложной системе всегда найдется слабое звено...

— Это не совсем так, — сказал Сахнин. — В любой, как говоришь ты, сложной системе есть и защита от

дурака. Нажать кнопку и начать войну не так-то просто, как это порой кажется.

«Не так-то просто», — подумал он. В пятницу кнопка была нажата. Когда станции слежения сообщили, что космические тела прошли первую волну американских заградительных ракет, Сахнин понял, что лавину не остановить. Счет шел на минуты. С европейских баз уже поднимались стратегические бомбардировщики. Прямая связь бездействовала, и предположить можно было лишь одно: таков генеральный план на той стороне.

Еще четверть часа, и болиды начнут падать на восточные штаты. И что тогда? Ядерных взрывов быть не может — тела пришли из космоса, это метеоры, никем не запущенные, если только все это не ужасная провокация, необходимый Куперу казус белли. Через несколько минут на западных границах страны завоют сирены, думать об этом Сахнину было невыносимо мучительно, и потому новых сообщений, следовавших друг за другом с молниеносной быстротой, он вначале просто не понял.

На высоте нескольких сотен километров орбита опять потеряла стабильность. Будто на пути метеоров выросла стена — хотя что могло послужить преградой для тел, прошедших противоракетный заслон? Самое невероятное — размеры каждого из метеоров начали неудержимо расти. Десятки, сотни метров в поперечнике... Даже рядовому оператору было уже ясно, что это не боевые головки. Огромные пузыри неслись к Земле, это не было взрывом, пузыри расширялись и лопались, исчезая с экранов. Увеличиваясь в размерах, они становились прозрачными для радиоволн. Навстречу им шла вторая волна противоракет, но поражать цель им не пришлось. Цели больше не было. Космос опустел.

Противоракеты были взорваны в пустоте, высоко над Западной Атлантикой. Кто-то там, в бункере Пентагона, понял, наконец, что атаки нет и не будет. Кто-то успел дать отбой. Стратегические ракеты не стартовали. Волна бомбардировщиков разбилась на группы, которые, совершив разворот, начали уходить на базы.

Полчаса спустя Сахнин дал отбой тревоги по округу. И почти сразу поступило сообщение, что прямая связь заработала и разговор с Купером состоялся. Сахнин так и не узнал в точности, как происходил разговор, на сове-

щании был сообщен лишь результат: через неделю делегации обеих стран обменяются в Женеве информацией и мнениями. Вечером, совершенно опустошенный, чувствующий себя не человеком, а комком нервов, Сахнин поехал домой. Солнце стояло низко, люди торопились по делам — был час пик, и никто не оглядывался на несущуюся по осевой машину. Никто так ничего и не узнал. Дома Сахнин накричал на Жанну. Это было единственным проявлением слабости, которое он себе позволил.

«Что было это?» — думал он. Сахнин не верил в пришельцев, в козни инопланетян. До сих пор все хорошее и все плохое на Земле люди делали сами. Пусть физики разбираются. Только скорее. Куперу нужно преподнести точное объяснение феномена, иначе он будет стоять на своем, что это — провокация красных. Уж в газетах это будет наверняка. В любой сложной системе, чтобы она не разладилась, нужна защита от дурака. В системе, именуемой человечеством, нужна еще защита от безумного политика.

— Папа, — сказал Сахнин, — если Вселенная, намного более разумная, чем мы, все же не сумела спастись... Если мир погиб двадцать миллиардов лет назад... Я не ошибся в числе? Если это так, то мы...

— Мы обязаны выжить. Мы слишком редкое явление природы. Как цветок на пепелище. Сейчас во всем мироздании нас только двое — мы и она.

— Она... Кто?

— Вселенная, — сказал отец...

...Машина миновала стоящие дугой, как паруса под ветром, дома Юго-Запада и вырвалась на шоссе. Сахнин смотрел в окно, ничего не замечая. День был тяжелым. Не осталось сил ни радоваться хорошему при такой болезни самочувствию отца, ни поражаться его идеям, которые казались такими далекими от его, Сахнина, волнений и так неожиданно с ними сомкнулись. Все в природе естественно. Разум тут ни при чем. Никто не виноват, что звезды взрываются, окончив жизненный путь. Не разум ответствен за взрывы в ядрах галактик. Разуму не по силам устроить вспышки на Солнце или даже сколько-нибудь крупное землетрясение. Отец неправ. События прошедшей пятницы куда как просто приписать иному разуму. Сложнее найти истинное объяснение.





У физиков есть уже кое-что на этот счет. Говорили на совещании. Многого Сахнин не понял, но главная аналогия была ясной и естественной.

Шаровая молния.

Тело двигалось к Земле из области внешних радиационных поясов, оттуда, где магнитное поле планеты захватывает и удерживает множество заряженных частиц, летящих из глубины космоса. В последние месяцы, сказали физики, Солнце очень активно, и в магнитосфере возникли мощные неустойчивости. Заряженных частиц в магнитном поле Земли стало намного больше, чем обычно, и они собрались в разреженный плазменный шар, который удерживали от распада магнитные силовые линии радиационного пояса.

Вдоль этих силовых линий шаровая молния начала падать на Землю. Именно потому и казалось, что тело меняет орбиту — ведь его движение зависело не от тяготения планеты, а от магнитных полей. Шаровая молния набирала энергию, эта энергия ее и разорвала. Так возникли тринадцать молний. Энергия их была такой большой, что молнии «выпали» из магнитной ловушки, начали падать свободно, как обычные баллистические снаряды. Если бы не существовало внутреннего радиационного пояса, шаровые молнии упали бы на Землю и здесь взорвались. Но их остановила новая магнитная ловушка. В плазме опять возникли неустойчивости, и пузыри распались, как это случается и с обычными шаровыми молниями во время летних гроз на Земле.

Какое прекрасное и могучее явление природы, сказали физики. Никем не предсказанное, но, в сущности, так ожидаемо очевидное. Магнитными полями нужно было разрушать этот рой шаровых молний, а не ядерными зарядами. Это — на будущее...

Машина остановилась перед домом аэродромовских служб, и Сахнин поднялся в диспетчерскую. Стена, выходившая на летное поле, была стеклянной, и он задержался, глядя на красоту вечернего подмосковного пейзажа. На краю поля стояли березы, закатное солнце освещало листья грустными лучами, и казалось, что это не бетон отнял у леса его долю пространства, а, наоборот, березы уверенно наступают на посадочную полосу. У них было на это право. Это была их земля.

Двадцать миллиардов лет этому миру. Этой красоте. Когда жила и мыслила целая Вселенная разумных миров, когда все было иным, ему, Сахнину, непонятным, может быть, тогда и красота была немыслимо иной? И те, кто жил тогда, не оценили, не поняли красоты своего мира? Ее неповторимости?

«О чем это я? — подумал Сахнин.— Не жалеть же о прошлой красоте, которой, может, и не было никогда...»

В диспетчерской он спросил городской телефон. Набрал номер, назвал себя, попросил дежурного врача. Тишина длилась минуту, и вторую, и третью, и напряжение росло, будто Сахнин стоял перед экраном, и на него неслись плазменные пузыри, космические шаровые молнии, и мир опять висел на волоске.

— Вы слушаете? — голос женщины едва прорывался сквозь помехи. — Вы слушаете? Вы можете приехать? Степан Герасимович Сахнин только что скончался. Вы слушаете?

Мир взорвался...

• •

...И возникли планеты. И на одной из них — жизнь. Настоящая жизнь! Такая слабая... Я волнуюсь, когда думаю об этом. Я умираю, а она набирается сил. Я хочу помочь ей. Но я бессильна. Стараюсь не думать о них, потому что знаю: когда я о них думаю, в их системе что-нибудь происходит. Вспышки на звезде. Магнитные бури. Взрывы вулканов. Потопы. Я думаю о них и чувствую, как шаровые молнии несутся к планете, и не могу остановить, не в силах...

Они живут. Развиваются. Они никогда не достигнут могущества, которое было у меня. Потому что они — моя часть, а я угасаю. Они не знают об этом и, надеюсь, не узнают. Для них мир огромен. Они, вероятно, думают, что смогут в нем — во мне — разобраться. Пусть пробуют. Это отточит их разум. И возможно, когда я угасну окончательно, они поймут мою сущность. Поймут мою жизнь и мою смерть.

Они уже достигли такого могущества, что в силах уничтожить себя. Свою планету. Я боюсь за них. Или за себя? Да. За себя. И за них. Это все равно.

Мучительно. Звезды взрываются все чаще. Чернота. Ее во мне все больше. Пройдет время, исчезнут послед-

ние звезды, угаснет свет галактик, остынет газ, во мне не останется ничего, кроме черных дыр, распавшихся планет, и все это будет разваливаться на атомы, и атомы перестанут излучать энергию и распадутся на частицы, но мысль моя угаснет раньше. Останется тело, мое мертвое тело. И только они, если не погубят себя сейчас, смогут что-нибудь сделать. Станут могучими настолько, что помогут мне не умереть окончательно.

Я для них — Вселенная. У них нет ничего, кроме меня. Они должны спасти меня... Сначала себя, потом — меня. Чернота... Где же свет?.. Да будет ли когда-нибудь свет?!

ПРОЧИТАВ РАССКАЗ...

Фантастика и реальность, реальность и фантастнка... Где граиь, отделяющая одно от другого в наш бурный век новых открытий н свершеиий?..

Несмотря на явную фантастнчность прнема, рассказ «20000000000 лет спустя» прочно опирается на жизнь, на реальные событня, столь пугающе часто происходящие в нашн дни, любой нз которых может стать последним в историн человечества.

Подойдем к вопросу с другой стороны: что считать реальностью, а что — фантастнкой? Печальное знамение временн: ни ход подготовкн американских военных к нанесению «ответного» ядерного удара, ни сама возможность ошибкн в действиях амернканской системы ПРО (противоракетной обороиы), нн страшная суть «варианта «Трамплин» (этот «варнант» может носить любое другое кодовое нанменование) сейчас уже никакая не фантастика. Говоря о «фантастичности приема», я делаю мысленный акцент иа слове «прием»: введение в рассказ в качестве персонажа мыслящей Вселенной — лишь метод, позволяющнй в контрастных тонах обрисовать угрозу, навнсшую над другой разумной Вселенной — иашей, земной, цивилизацией.

Обратнмся к некоторым фактам недавиего прошлого. Каждый этот факт уже сам по себе мог бы лечь в основу рассказа — фантастического илн реалистнческого, разве в прнеме дело?

...Октябрь 1971 года. Все радно- и телестанцин США получают кодовое сообщение «Национального центра предупреждения», расположенного в атомном убежнще неподалеку от Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. В послаиии, заготовлеином иа случай ядерной войны, говорнлось: «Президент Соединеннных Штатов объявляет состояние общенациональной тревоги. Все радиостан-

ции немедленио прекращают свою работу и перестраиваются иа волну Центра предупреждения». Замер эфир, и лишь через час пришло сообщение — тревога ошибочиая.

...Ноябрь 1979 года. Для отражения атакн «вторгшихся советских бомбардировщиков» в воздух подняты десять самолетов-перехватчнков ВВС США. Через шесть мниут отбой — в компьютер была случайно введена перфокарта, нмитирующая «советскую атаку».

...Июль 1981 года. Чувствительные датчики спутников Объединениого комаидования азрокосмической обороиы Северной Америки (НОРАД) зафиксировали необычное свечение н сильное тепловое нзлучение в штате Флорида, которые были приняты за ядерный взрыв. В Пентагоне решили, что США подверглнсь атаке советских ракет. Оказалось — датчики отреагнровалн на лесной пожар...

В США уже зарегистрнрована 151 ложиая ядерная тревога. И каждый раз автоматически включался механнзм «ответного удара». И каждый раз мир оказывался на волоске от смерти. Страшио подумать, что могло бы произойти, окажись у пульта управлеиия ракетным арсеналом США человек, скажем, психически иеуравиовешенный.

Едва ли приходится сомневаться, что миогочислеииые ложные ядерные тревоги — иеотъемлемая часть общего нагнетания милитаристского психоза в США, особенно усилившегося при нынешней администрации Рейгаиа. Взять хотя бы безответственные рассуждения главы Белого дома и его окружения о том, что ядерная война не только возможна, но что в ней можно и победить.

Позволительно задать вопрос: а смогло бы руководство США овладеть событиями, если бы цепная реакция ошибок привела к действительной тревоге? В рассказе кнопка не нажата: к счастью, отбой дан вовремя. Но в реальной жизнн кто может быть уверен, что полагающаяся иа оружие, а не на разум администрацня США сумеет остановить вновь «по ошнбке» потянувшиеся к кнопкам пуска рукн?

Однако было бы неправильно сводить смысл рассказа П. Амнузля только к проблеме временного фактора: «успеют — не успеют?» Или только к актуально (разумеется, в высшей степени актуально) поднятой теме предупреждения: «кнопка ие должиа быть нажата». Рассказ прежде всего об ответствеииости. О коллективной ответственности людей мира и о личной ответствениости каждого живущего на Земле за будущее планеты, за будущее нашнх детей и иас самих, всего человечества.

«Кризисы, горячие точки... Я подумал: мы ведь часть Вселенной, может, ее единственная разумная часть, — говорит умирающий отец генерал-майора Сахиниа.— И что станет со Вселенной, если мы уничтожнм себя?»

И дальше слова того же персоиажа, олицетворяющего совесть ученых, всех честных людей Земли: «...Ты скажешь, что ни ты, ни я, иикто из нас ие отвечает за действия того же Купера. Но что до этого будущему, которое может ие иаступить?..»

Коиечно, за риторикой этих ключевых фраз угадывается главное: спасительность тезиса «за иас решат» — ложиая, вопрос «быть будущему или иет» решается сегодня, сейчас.

...В заключительном монологе рассказа устами разумиой Вселенной сказаны такие слова:

«Оии уже достигли такого могущества, что в силах уничтожить себя. Свою планету... Они должны спасти меня... Сиачала себя, потом — меия...»

В этом, как представляется, и состоит пафос рассказа. Всех людей иа плаиете должиа объедииять одиа тревога, одна общая — повторю это важнейшее слово — ответствеииость за наше настоящее, в котором спрессовались и достояиия прошлых веков и тысячелетий, накоплеииые за долгую историю цивилизации, и иадежды иа то, что будущее состоится.

Виталий ГАН,
журиалист-междуиародиик

ПРЕОДОЛЕНИЕ

1

Полет на Полюс был для меня мучением. Обычно я хожу пешком, в крайнем случае езжу на автомобиле. Но уже простой, как азбука, пассажирский махолет вызывает у меня приступ своеобразной аллергии, и я отказываюсь от деловых встреч, стараюсь договариваться по стерео. Для полета на Полюс мне пришлось собрать всю свою решимость — раньше я никогда не покидал Землю! Союз писателей предложил мне участвовать в конференции по межзвездной связи и написать книгу «Фантастика и реальность космоса». Это было признанием, которого я так долго добивался. Отказаться я не мог — пришлось лететь.

«Новатор» больше напоминал океанский лайнер, чем межпланетный корабль: просторные каюты, холлы, библиотека, бассейн... Не особенно напрягая воображение, я мог представить, что плыву из Одессы в Керчь — небольшое каботажное плавание. Единственной настоящей неприятностью, о которой я старался заранее не думать, был перелет к астероиду на орбитальном челноке. Страх свой я отгонял, представляя, как выйду из челнока в пиджаке нараспашку, и легкий ветерок из шахт регенерации взлохматит волосы.

На деле все получилось иначе. Когда челнок отошел от «Новатора» и планетолет исчез среди звезд, что-то вдруг ослепительно сверкнуло на поверхности Полюса. Я не придал этому значения, мало ли какой эксперимент ведут сейчас ученые на астероиде! Спросить было не у кого — на посадку меня вел автомат. Лишь потом я понял, что произошла авария: в порту Полюса меня встретили все те же автоматы, а в шлюзовой шахте назойливо вспыхивали транспаранты: «Внимание! Полная разгерметизация!» Пришлось влезть в скафандр, и я проделал эту операцию в такой панике, что был уверен: наверняка сделал что-нибудь неправильно. Если бы я мог, я бы вернулся на «Новатор»!

Портовая площадь была описана в проспектах как «зеленый сквер, напоенный запахами растений с восьми планет Солнечной и других систем». Возможно, так и было несколько часов назад, сейчас в космической пустоте трава и цветы выглядели серыми и хрупкими. Пустынной площадью — ни людей, ни роботов — я доковылял до гостиницы, одноэтажного коттеджа, холл которого, лишенный воздуха, как и все вокруг, был обставлен мебелью в старинном стиле — обивка диванов покорежилась, а легкие стулья лежали, опрокинутые воздушной волной. Я подумал, что если воздуха нет и в жилых комнатах, спать в скафандре будет не совсем удобно. Я записал прибытие у автомата-портье и спустился лифтом на свой семнадцатый этаж. Здесь был воздух и горели совсем иные транспаранты: «Поставьте скафандр в нишу», «Ваша комната направо», «Приятного отдыха!» Я рассовал по шкафчикам свой небольшой багаж и, переодевшись в домашнее, будто сбросив с себя память о восьмисуточном перелете с Земли, включил информ.

Сразу высветилось общее по Полюсу сообщение: «В 11.46 во время пробного сеанса передачи в результате перегрузок произошел взрыв энергоблоков 2-7 и 2-8. Частично повреждена приемопередающая часть лазерной системы «Конус». Побочные поражения: разрыв пленки защиты на площади 0,7 кв. километров, полная утечка атмосферы. Ранен Стоков С. С.»

Первой мыслью было — чем я могу помочь? Экипаж Полюса — сто тридцать человек — наверняка у «Конуса», на противоположной стороне шарика, все заняты по аварийному расписанию, ведь после взрыва не прошло и четырех часов! В гостинице никого, кроме роботов, от которых толку не добьешься. На конференцию люди начнут прилетать через десять дней, это я прилетел загодя, как было условлено — предстояло собрать материал для книги. Были и личные планы: я очень надеялся на беседу с Лидером базы Сергеем Стоковым. За пять лет нашего заочного знакомства и переписки накопилось много вопросов, о которых мы могли бы поговорить. Но Стокову сейчас не до разговоров...

Я чувствовал себя неуютно, будто на мне лежала вина за неожиданную аварию. Всегда, когда я лишний, у меня возникает такое ощущение. Лишним же ощущал себя значительно чаще, чем необходимым, и чувство вины за что-то, к чему я не имел ни малейшего отношения, давило на меня постоянно.

Я поискал на пульте информа список индексов. Набрал справочную. Оказалось, что у Стокова поверхностные ожоги второй степени, не опасные, и травма черепа. Без сознания. Идет операция. Лидером стал Комаров Евгений Анатольевич, информ-индекс 77, номер не отвечает.

Какой еще Комаров? Фамилия заместителя Стокова, как я помнил, Оуэн. Здесь уже произошли перестановки?

Коротко гуднул вызов, и я вздрогнул от неожиданности: не ожидал, что обо мне вспомнят в этом хаосе.

Женщина на экране стерео была молодой — лет двадцати пяти — и симпатично некрасивой. Именно так. Длинное лицо, неуловимо раскосые глаза, слишком большой рот и яркая улыбка.

— С прибытием, Леонид Афанасьевич, — сказала

она. — Я Ингрид Боссарт, астрофизик. Как и вы, прилетела на конференцию... Если вы не устали, поднимитесь ко мне. Пообедаем и поговорим. Сейчас мы с вами — единственные незанятые люди на астероиде.

— Как вас найти?

— Тринадцатый ярус, комната 1307. Жду.

Я переоделся и поднялся на четыре яруса по узкой винтовой лестнице. Шел медленно, еще не привыкнув к уменьшенной втрое по сравнению с земной силе тяжести, и машинально постукивал пальцами по стене. Металл отзывался глухо, будто за ним была толща монолита. На самом деле Полюс был пуст, как гнилой орех. Огромный орех пятнадцатикилометрового диаметра. Единственной действующей системой была установка лазерной межзвездной связи «Конус» с обсерваторией. Для нее — этой системы — и был сконструирован искусственный астероид. Сконструирован и собран (десять лет монтажа) на околосолнечной орбите, наклоненной перпендикулярно к плоскости эклиптики. Полюс поднимался над Солнечной системой на расстояние до трех астрономических единиц. Совет координации как обычно постарался выжать из сооружения максимум, и по проекту недра Полюса со временем предполагалось начинить миллионами тонн аппаратуры — сделать из астероида самый крупный в истории науки полигон. И главное, создать для экипажа все удобства. Искусственное тяготение. Атмосфера. Астероид, как косточка в абрикосе, был заключен в тончайшую сферическую пленку, надутую воздухом. Воздушный шар старинных романов, гондола которого помещалась не снаружи, а внутри. Так на Полюсе появилось небо — черное в зените и чуть зеленоватое у близкого здесь горизонта. Пленка, удерживавшая атмосферу от рассеяния, была неощутима, невидима и мгновенно восстанавливалась при разрывах, поэтому челноки и даже рейсовые планетолеты опускались и поднимались на малой тяге без риска. Но взрыв энергетических блоков оказался слишком сильным потрясением, пленку разорвало на очень большом участке, и Полюс, лишившись атмосферы, перестал отличаться от остальных космических лабораторий...

Ингрид Боссарт была на две головы ниже меня, худенькая и хрупкая. Стол в ее комнате был накрыт

на троих и я вопросительно посмотрел на Ингрид.

— Должен был прийти Коля, — объяснила она. — Но он только что сообщил, что занят на «Конусе». Мне тоже после обеда придется вас покинуть. В семнадцать заседание комиссии.

— Какой комиссии?

— По расследованию причин аварии.

— Вы тоже?..

— В комиссию включены все, кто оказался на Полюсе. До вас прибыло четверо. Комарова из Совета координации вы, вероятно, знаете. Кроме него, Николай Борзов, футуролог, Ли Сяо, кибернетик, и я.

— Не говоря об экипаже Полюса, — добавил я.

— О чем вы, Леонид Афанасьевич? — удивилась Ингрид. — Людей во плоти и крови, как говорится, на Полюсе сейчас семеро, включая вас.

— Где же остальные?

— Строители и монтажники улетели неделю назад. Сменный научный экипаж в пути, будет здесь через пять дней. Междусменка.

— Кто же оперирует Стокова?

— Оуэн, больше некому.

— Он врач?

— Инженер, но на внеземных станциях...

Конечно, я и сам это знал — каждый космонавт умеет прекрасно лечить и оказывать первую операционную помощь.

— После заседания комиссии, — сказала Ингрид, — мы с удовольствием побеседуем с вами. Каждый прошел через увлечение фантастикой. Моим любимым автором, помню, был Поленов.

Я поморщился, потому что терпеть не мог Поленова, как, впрочем, Поленов не любил масштабную фантастику прогностического направления. Так, психологическое сюсюкание.

Загудел вызов, Ингрид выразительно отставила свой бокал с соком, и я понял, что пора уходить. По правде говоря, вкуса еды я не почувствовал...

2

По пути в башню обзора я думал об одном: что мне, собственно, делать? Обсуждать проблемы футуро-

логии и контактов с внеземными цивилизациями никто не будет. Стоков без сознания. Пассажирский лайнер придет через пять дней. На нем я, конечно, и улечу, но пять дней...

Я стоял, прижавшись лбом к холодному стеклу, и смотрел на торчащий из-за горизонта конус лазерной установки. Мне представлялось, что я все это уже видел и, более того, все это я сам проектировал. Привычное ощущение причастности к тому, к чему я прежде заведомо не имел отношения. Когда-то это ощущение пришло ко мне впервые, и я поразился ему, и только позднее понял, в чем дело. Давала себя знать фантастика, ставшая моим вторым я. Многие инженерные решения пришли в жизнь из фантастики, были, можно сказать, пропитаны ее идеями. Мне нравилось сравнивать все, что я вижу, с тем, что когда-то читал, или с тем, что сам мог придумать. Вот «Конус» — идея лазерной межзвездной связи появилась в фантастике одновременно с изобретением лазера. А идея заключить астероид в наполненный воздухом прозрачный шар? Ей тоже больше столетия. В своей речи на конференции я собирался упомянуть об этом. Фантазия у предков работала. Впрочем, сказал бы я дальше, фантазия у наших современников работает не хуже — вспомните, например, рассказ Рэндолла «Случай». Какой каскад отличных идей! Так что, товарищи ученые, читайте фантастику, которая расковывает мысль. Особенно, когда начинаете рассуждать о контактах.

Речь моя, давно отрепетированная, видимо, так и не будет произнесена. Об этом-то я не очень жалел — не люблю выступать перед большой аудиторией. Не умею. Для меня это почти то же, что лететь в махолете. Во всяком случае, причина этой своеобразной аллергии одна. И началось все давно...

В семь лет я начал учиться в лесной школе на Байкале, родители жили в Перми и прилетали ко мне раз в месяц. Однажды махолет, которым управлял отец, упал в тайгу и разбился.

Плохо помню, что было со мной тогда. Стараюсь не вспоминать. Но подсознательный страх перед всеми средствами передвижения остался. И осталась внутренняя убежденность в том, что я одинок.

Еще в школе я заинтересовался футурологией, но на втором курсе института понял, что это не для меня. Сказать своего слова я не мог, а повторять чужие идеи не хотел. Занялся прогнозированием землетрясений, потом изучал науковедение. Со стороны казалось, что я ищу, где полегче. Друзей у меня было мало, это были люди, которые хоть как-то догадывались, чего я хочу. Именно как-то, ведь никто не разглядел моего призвания к литературе, хотя среди моих знакомых были и писатели. Более того, когда я написал первый рассказ, мне прямо сказали, что не стоило портить пленку. Чтобы стать писателем, нужно знать людей. Излишне рациональное мышление для писателя — гибель.

Так я и пришел к фантастике. В ней для меня переплелось все: желание конструировать будущее, воображать его, не будучи стесненным рамками какой бы то ни было науки, желание писать, конструктивизм мышления, выражавшийся в том, что характеры людей я конструировал из деталей, как и то будущее, в котором мои герои жили.

Первая моя книжка выходила трудно. «Сейчас нельзя так писать, — говорили мне. — Так писали сто лет назад, когда фантастика считалась литературой второго сорта. Но сейчас...» Я все-таки добился пробного тиража для фильмотек. И неожиданно посыпались заказы. Сейчас тираж размножения достиг семи миллионов, не бестселлер, конечно, но я и этого не ожидал.

Книгу спасла изюминка, на которую, несмотря на частые напоминания, внимания обычно не обращают. Фантастические идеи. Идеи у меня возникали неожиданно легко, и я обратил внимание: за два века существования научной фантастики процент реализованных идей значительно превысил случайные совпадения. Ясно, что существовал какой-то метод, которым настоящие фантасты интуитивно пользовались. И я решил этот метод найти. Составил картотеку «Фантастика двух веков» — все идеи вошли в нее, более трехсот тысяч.

Я считал, что метод придумывания фантастических идей годится не только для литераторов, но и для ученых. В сущности, это новый метод прогнозирования. Тогда я написал книгу «Фантастика в науке». Тираж был

приличным, заказов много, но профессионалы обошли книгу молчанием. А ученые считали ниже своего достоинства учиться чему-то у дилетанта.

Вероятно, нужно было бороться, отстаивать свои взгляды. Но я мог делать это только письменно. В устных спорах меня всегда побеждали, я уходил с больной головой и мыслью, что занимаюсь несусветной чепухой. Обдумав аргументы, я понимал потом, что был прав. И писал об этом в очередном рассказе. Друзья окрестили меня чемпионом мира в спорах по переписке.

Со Стоковым, Лидером Полюса, мы тоже схлестнулись в заочном споре. Переписывались долго, и вот, когда Стокову представилась возможность убедить меня, — авария. Как-то нелепо все это. И странно...

Пневмовагончик (идея принадлежала еще Жюлю Верну) домчал меня от обзорной башни к гостинице, когда на часах было семь. Комиссия по расследованию аварии, вероятно, закончила свое заседание, на которое меня не звали, и я направился в кафе «Полет», где мы с Ингрид договорились встретиться.

3

Комаров выделялся своей шевелюрой: белая грива спадала на плечи, растекалась рекой, пенной и прекрасной. Он наклонял голову, слушая, раскачивался в ритм речи, и белая грива послушно меняла русло, отзывалась бурей или легким волнением. Рядом с Комаровым футуролог Николай Борзов совершенно не смотрелся. У него была настолько неброская внешность, что, если бы такое выражение существовало, я бы сказал: у него вовсе не было внешности. Кибернетик Ли Сяо, самый старший сейчас на Полюсе — ему, наверно, перевалило за семьдесят — был так же похож на китайца, как я на египетского фараона.

Когда я вошел, все доедали десерт. Ингрид, улыбаясь, смотрела, как я впопыхах наверстываю упущенное, и смысла разговора я долго не мог уловить — спор шел давно, начавшись без меня и, может, не сегодня. Оуэна за столом не было. Изредка он возникал на экране, молча слушал и исчезал, не проронив ни слова. Дежурил в медотсеке.

— Леонид Афанасьевич, — неожиданно обратился

ко мне Борзов, — в фантастике, вероятно, уже описывалась сходная ситуация? Я имею в виду аварии на астероидах.

— Конечно, — сказал я, — есть большая группа идей...

— И вы считаете, что этот псевдонаучный арсенал может помочь в научной работе? Я читал вашу «Фантастику в науке». Увлекательно, но не убедительно.

— Жаль, что я вас не убедил... К сожалению, моя картотека на Земле, иначе я смог бы отыскать для вас достаточно близкий аналог сегодняшней аварии. И возможно, даже подсказать правильное решение.

— Серьезно? — сказал Борзов с откровенной иронией. — А что, друзья, не поспорить ли нам, как это когда-то было принято? Помните героев пиратских романов? Ставлю двести пиастров против ломаного пенса, что вам, Леонид Афанасьевич, не разобраться в причинах аварии «Конуса», пользуясь только вашими фантастическими методами.

Я почувствовал, что краснею. Это был прямой вызов, и я не мог отступить. Представляю, как бы я выглядел в их глазах, если бы не стал спорить. Но и согласиться я не мог. Слишком все серьезно и сложно, а у меня нет с собой ни картотеки, ни даже материалов по методике. Я не могу спорить, я не готов к этому.

— Принимаю пари, — сказал я неожиданно для самого себя и протянул Борзову руку через стол. Пожатие оказалось крепким и долгим, все смотрели на нас улыбаясь и, по-моему, не принимали спора всерьез.

— Нашла коса на камень, — добродушно сказал Комаров.

4

Проснулся я ночью, будто от сигнала будильника. Лежал неподвижно, думал, и беспокойство, возникшее во сне, усиливалось. Я не понимал его причины и нервничал все больше. Может, что-то случилось на Земле с Наташей или мальчиками? Обычно я остро ощущаю такие неприятности, но то на Земле, вряд ли ощущение опасности могло настичь меня через сотни миллионов километров! Все же нужно во время сеанса связи поговорить с Наташей... Нет, не в том дело. Этот спор, навязанный вечером. Какая-то несуразность бросилась в глаза... А, вот что!

Почему единственный человек, который должен прекрасно разбираться в энергетических блоках — Оуэн — безвылазно сидит в медицинском отсеке под предлогом, что он к тому же врач? И почему Лидером стал не он, а Комаров, человек здесь посторонний? Не странно? И не странна ли вообще эта авария? Почему, например, не сработала система защиты? В чем-то, вероятно, была вина Оуэна, если его изолировали в медотсеке.

Я выплыл из спального мешка, включил ночник и вызвал по информу медотсек. На экране возникла Ингрид.

— Доброе утро, — сказал я с довольно глупым видом. Я-то думал, что увижу Оуэна и спрошу его кое о чем.

— Доброе утро, — улыбнулась Ингрид. — Как спалось?

— Благодарю вас, отлично. Стокову лучше?

— Да, он спит. Послеоперационное течение гладкое.

— А где Оуэн?

— В районе аварии, естественно. Он единственный среди нас астроинженер, без него не разобраться.

Действительно, единственный инженер и единственный врач. И кажется, вообще единственный, кто знает что-то об аварии. Во всяком случае, моя первая версия оказалась курам на смех. Что и следовало ожидать.

5

Борзова я встретил в обсерватории, в зале операторов. Сюда сводилось управление всеми четырьмя инструментами обсерватории Полюса: большим оптическим телескопом с двадцатиметровым зеркалом, малым рефлектором, работавшим в инфракрасном диапазоне, антенной микроволнового локатора и рентгеновскими детекторами.

Я пришел сюда поразмышлять в одиночестве, будучи уверен, что после аварии никому нет дела до астрономии. Николай сидел у пульта, и я хотел уйти, но Борзов обернулся, и мне пришлось сесть с ним рядом.

— Авария аварией,— сказал Борзов,— а план планом. Я поработаю, а вы спрашивайте. Идет?

Чтобы спрашивать, нужно знать, о чем спрашивать! Умения задавать вопросы у меня никогда не было. И я сказал первое, что пришло в голову:

— Скажите, Николай Сергеевич, какой доклад вы собирались делать на конференции?

— Динамика развития интеллекта. Проблема гениальности в футурологии. Знаете ли вы, что гениев на Земле больше нет? Вывелись, как в свое время мамонты.

Я усмехнулся. Заострение проблемы — неплохой ораторский прием.

— Напрасно смеетесь! Во все времена над людьми со средним уровнем интеллекта возвышались пики гениев. Пики-одиночки колоссальной высоты. Чуть пониже шла гряда талантов. Когда мы обработали архивные данные за два века, оказалось, что высота пиков гениальности понизилась. Это, кстати, стало сто лет назад одной из причин для утверждения, что роль коллективного мышления в науке возрастает.

Все, конечно, не так просто, Леонид Афанасьевич, как я это рассказываю. Исследование очень сложно, и до сих пор нет полной уверенности в результате. А результат такой: человечество перестало эволюционировать как разумный вид. Что говорит об этом фантастика, Леонид Афанасьевич?

Я промолчал. Вопрос был риторическим, Борзов и не ждал ответа. Он влез в кокон наблюдателя, опустил колпак, став на время чем-то вроде придатка к обсерваторскому компьютеру. Я машинально отметил, что в фантастике системы «человек — компьютер» были начисто отработаны еще в прошлом веке...

Я попытался вспомнить, кого из наших современников можно по масштабу дарования сравнить с Эйнштейном? Кружавина? Бог химии — так о нем говорят. Но я не мог назвать работу, которую он подписал бы один. Кружавин руководил огромным коллективом, и в этом качестве его знали все. Может быть, Шестов? Единая теория поля — его детище, он сделал то, что оказалось не по силам Эйнштейну. Но разве он сделал это один? Сотни исследователей, которых он организовал, которые составили единый мозг Института физпроблем...

Кто же еще?

Борзов бормотал что-то, полузакрыв глаза. То ли менял программу наблюдений, то ли надиктовывал что-то в журнал. Я повернулся к зрительному пульту — опытные наблюдатели обычно не пользуются им, предпочитая прямой контакт с машиной. Но для дилетантов вроде меня — в самый раз. Включил подсветку, четко обозна-

чились цифры координат, параметры исследуемых объектов. Необычное бросилось в глаза сразу. Во всех индексах, кроме координатных, стояли нули. Иными словами, все приборы пялились в какие-то участки неба, где ровным счетом ничего не было, кроме первозданного мирового шума, который всякая приличная машина сама вычитает. Довольно трудно, по-моему, выбрать на небе участки, где даже в мощные телескопы нечего было бы наблюдать. Сотрудникам Полюса зто блестяще удалось. Непонятно только зачем? И тут мне бросилась в глаза другая странность. Все телескопы наблюдали одну и ту же точку — на пультах всех четырех систем стояли одинаковые координаты с точностью до всех возможных знаков. Сначала зто меня успокоило — все же одну такую область найти легче, чем четыре. Но, с другой стороны, если в зтом направлении ровно ничего нет, то зачем его исследовать с такой тщательностью?

Любопытно... Сколько же времени длится зто странное наблюдение? Я пустил назад тайм-индекс, и оказалось, что цель была принята вчера в 11.47. Число было знакомым. Именно в зто время началась пробная передача, которая закончилась взрывом!

Интересно узнать, в каком направлении велась передача. И если координаты совпадут... Странная была передача. Недаром комиссия в лице Борзова заинтересовалась обсерваторией, хотя здесь ничего не взрывалось.

Борзов, наконец, перестал бормотать и вылез из кокона.

— Ну что? — спросил я не без ехидства.

— Хотел бы я знать, — задумчиво протянул Борзов.— То есть, я хотел сказать, Леонид Афанасьевич, что зто прекрасные телескопы.

— Я думаю! Они наблюдают ничто...

— А, вы обратили внимание?

— И заметил также, что наблюдение ведется за одной областью и начато одновременно со вчерашней передачей. Вероятно, и передача велась в зтом направлении?

— Так и есть. Созвездие Дракона.

— Почему?

— Штатная программа,— Борзов пожал плечами.— Великая вещь — штатная программа. Положено — и все. Наверняка Борзов задает себе те же вопросы, что и я:

если по программе и положено наблюдать за областью, куда послан сигнал, то зачем делать это одновременно с началом передачи? Скорость света не бесконечна, и даже ускоренный генераторами Кедрина свет не может мчаться быстрее, чем триста миллиардов километров в секунду. Ответ с межзвездных расстояний может быть получен не раньше, чем через несколько дней. Разве что с межпланетных...

— Так что говорит фантастика об исчезновении гениев? — спросил Борзов, когда мы шли из обсерватории к «Конусу». Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Речь не просто о том, что перевелись гении. Их и во все времена было один-два на поколение. Появление гения — дело случая. А есть события не случайные. Вы слушаете меня? Сейчас многие науки переживают кризис. Вы можете вспомнить крупное физическое открытие за полвека?

— Единая теория поля, — сказал я. — И еще открытие метастабильных взаимодействий.

— Не то, — Борзов, шедший впереди, остановился, и я по инерции налетел на него, мы стояли в пустом на сотни метров коридоре, Борзов говорил, от возбуждения глотая слова. — Единая теория как создавалась? Постепенно. Понимаете? Шестов только довел. Уверяю вас, Леонид Афанасьевич, открытий в последнее время заметно поубавилось. И число ученых тоже. В биологии такая же картина. После работ Шаповала... Знаете работы Шаповала? После них не было ничего существенного. Вы слушаете? И так во всех науках. В природе масса непонятного, но и никаким усилиям это непонятное не поддается. Гении нужны. Гении! А их нет. Понимаете? Говорят, что если открытие назрело, то оно совершается. В любой науке сейчас назрели десятки открытий. А где они?

Он опять припустил по коридору, и я за ним, давно уже потеряв ориентацию. Перед нами загорелось табло «Конус», и из тени пробкой вылетел робот. Небольшой шар с окошками линз облетел нас и проскрежетал:

— Опасная зона. Проход нежелателен.

— Ах ты, — сказал Борзов. — Совсем забыл...

Он вытянул руку, робот коснулся ладони, сверкнул зеленым глазом и подкатился ко мне. Я повторил жест Борзова, но ответом был красный сигнал, и робот заг-

нусавил свое: «Опасная зона. Проход нежелателен».

— Идите, Николай Сергеевич, — сказал я. — Вечером расскажете, что там к чему. А я пойду по более безопасным зонам, где проход желателен.

Борзов исчез почти мгновенно, а я повернул к лифтам. Подумал немного и поехал в лабораторию связи. В огромной комнате никого не было. Я посидел в кресле, привыкая к обстановке и оценивая взглядом расположение приборов на пульте. Во-первых, меня интересовали новости мирового информа — что говорят о Полюсе на Земле. Во-вторых, прием и передача на Землю спецданных. В-третьих, я и сам хотел связаться с Землей. С этого и начал. Наговорил на диктофон несколько фраз, в очередном сеансе моя запись уйдет к Земле, и вечером я, наверно, смогу услышать голос Наташи.

Потом — пресса. Я всего двое суток не слушал новостей, и, в общем, ничего существенного в мире не произошло. На Марсе собран зимний урожай лереи, на Венере закончилось охлаждение скальных ниш Крессиды. Родился десятитысячный коренной житель Япета. На Полюсе произошла авария лазерной системы «Конус», причины выясняются. Об отмене конференции тоже было всего два слова. В потоке сообщений эта информация терялась.

С какого момента смотреть сеансы связи Полюса с Землей? С момента аварии? Позднее? Я решил начать с сегодняшнего утра и идти назад во времени.

В утреннем сеансе было всего три сообщения. Специальный отчет комиссии и два личных. Личные послания были запечатаны кодом, а официальное сообщение содержало то, что я и так знал. Вчерашний дневной сеанс состоялся сразу после аварии, в нем была лишь краткая информация о взрыве. Ответы Земли не более содержательны. Только одно привлекло мое внимание: на время болезни Стокова Лидером Полюса назначался Ричард Оуэн.

Я перестал понимать. А где распоряжение об организации комиссии? Вряд ли оно оказалось под грифом «личное». Значит, что же? Комаров, Ингрид, Борзов и Ли Сяо устроили на Полюсе... как это называется... переворот? Ведь Оуэн явно не чувствует себя Лидером!

Неотключенный коммутатор продолжал разматывать серпантин сообщений. И неожиданно я услышал: «Зем-

ля — Полюсу. Распоряжение. Отправитель — Совет координации. Номер... дата... Для расследования причин аварии энергетических блоков образовать комиссию в составе: Комаров Евгений Анатольевич (председатель), Боссарт Ингрид, Борзов Николай Сергеевич, Ли Сяо, Стоков Сергей Станиславович, Оузн Ричард...»

Я хлопнул ладонью по клавише дублирования, и отпечатанное распоряжение выпало из телетайпа. Я перечитал его, и глаза убедили меня в том, чему не поверил на слух. Комиссия действительно была создана, и никакого переворота на Полюсе не произошло. Но дата на бланке — шестое февраля. А взрыв произошел вчера — четырнадцатого. Никого из членов комиссии, кроме Стокова с Оузном, в то время не было на Полюсе!

6

И опять мы собрались за столом. На этот раз все, кроме Ингрид. Стоков спал, будить его собирались только завтра к полудню.

Оузн оказался худым и высоким, с огромными ладонями и каким-то бугристым, небрежно вылепленным лицом. Он откровенно изучал меня, будто оценивая, чего от меня можно ждать. По идее, от меня можно было ожидать многого. Определенные выводы я уже сделал. Провел несколько утомительных часов в библиотеке, изучил и сопоставил кое-какие материалы и был уверен, что если и не нашел разгадку, то иду по верному пути. Сейчас меня интересовали подробности исследований Ли Сяо за два последних года.

— Скажите, Ли, — спросил я, — вы не занимаетесь больше экологией Вселенной или не публикуете результатов?

Ли Сяо осторожно положил ложку, будто она была стеклянной, и посмотрел мне в глаза. Комаров, бросив белую волну волос на левое плечо, спросил:

— Вы знаете работы Ли Сяо, Леонид Афанасьевич?

— Конечно, — сказал я уверенно. Мол, кто же их не знает. Днем я отыскал все публикации не только Ли Сяо, но Борзова, Ингрид и даже Комарова. Как я понял, Ли Сяо всю жизнь занимался довольно рутинным делом — моделировал нештатные ситуации для звездолетов. А поскольку никакой фантастики он в расчет не принимал, то

ничего для себя интересного я в его работах не нашел. Но года три назад он неожиданно перестал публиковать в «Вестнике звездоплавания» экспресс-сообщения по ситуационным прогнозам и за полгода сделал две статьи для «Эколога». Две странные статьи.

Речь в них шла об экологии Вселенной.

Люди научились ускорять свет, построили на Ресте полигон исследования мировых постоянных, и это стало первым вторжением в экологию Вселенной, о которой мы почти ничего не знаем. Впервые вступая в неизведанную область, человек опасливо оглядывается по сторонам. Убеждается, что ничего страшного не происходит, и начинает действовать смелее. «Что произойдет, — спрашивал Ли Сяо, — когда генераторы Кедрина, ускоряющие свет, поставят на десятки и сотни звездолетов? Что случится, когда начнут действовать тысячи Полигонов исследования мировых постоянных? Количество неизбежно перейдет в новое качество. Уничтожение лесов в свое время тоже начиналось невинными порубками. Самое опасное — даже на время поверить в безопасность».

Об этом говорилось в первой статье Ли Сяо. Вторая статья была, пожалуй, любопытнее. Ли Сяо подошел к экологии Вселенной как кибернетик-системолог. И попытался ответить на вопрос: образуют ли законы природы единую систему или являются совокупностью многих систем? И почему законы природы именно такие, какими мы их знаем? Почему, например, свет движется в пустоте со скоростью триста тысяч километров в секунду? Мы научились менять скорость света, но на вопрос: «А почему она такая?» — не ответили. И таких вопросов множество. Почему все частицы обладают массой покоя, а фотон — нет? Почему энергия пропорциональна массе? Почему частицы обладают зарядом?

Вся история науки — цепь попыток ответить на разнообразнейшие «почему». Но ученый начисто теряет дар речи, когда приближается к главным вопросам, не ответив на которые нельзя понять суть мироздания.

Сяо на эти вопросы тоже не ответил. Он начал доказывать, что ответить невозможно, потому что законы природы, оказывается, совершенно не связаны друг с другом. Внутренней логики в них нет.

Я решил, что Сяо вернется к этой интересной пробле-

ме в следующей статье. Но следующей статьи не было. Пощекотав читателям нервы и выдвинув неожиданную идею о том, что нет ничего скроенного более нелепо, чем законы природы, Ли Сяо опустил руки и вернулся к ситуационному моделированию.

А сейчас он смотрел на меня с таким удивлением, будто человек, знакомый с его экологическими работами, сам по себе научная редкость.

— Как фантаста вас это могло заинтересовать, я понимаю, — сказал он.

— Вы больше ничего не публиковали на эту тему?

— Я собирался рассказать о результатах на конференции.

Конечно, как и Борзов, Ли Сяо приберег самое интересное на десерт, догадываясь, что десерта не будет. Любопытно, что приберегли Комаров и Ингрид? И вообще, что общего между этими людьми? Чем занимаются они в своей комиссии? Надо полагать, что не расследованием аварии, о которой знали заранее!

— Николай Сергеевич тоже хотел рассказать о своей работе на конференции, но заседаний нет, и Николай Сергеевич выбрал в слушатели меня.

— Я понял ваш намек, — улыбнулся Ли Сяо.

— А что? — наклонил голову Комаров. — Почему бы действительно не устроить мини-конференцию, раз уж так получилось? Вы какой доклад планировали, Леонид Афанасьевич?

— Видите ли, — сказал я, смутившись, — у меня нет заготовленной речи. Я хотел рассказать, как методы фантастики помогают в решении научных проблем. А предварительно хотел послушать несколько выступлений, чтобы выбрать проблему для себя.

— Ну, — добродушно сказал Комаров, — одно выступление вы прослушали. Или проблема гениальности не глобальна и не заслуживает внимания фантастов?

— Глобальна, — согласился я. — И проблема экологии Вселенной тоже. Но вот Ингрид глобальными проблемами не занималась. Довольно узкая тема — физика нейтронных звезд... У меня есть одна идея о причинах аварии... Мы ведь, помните, поспорили с Николаем Сергеевичем... Но эта идея не объясняет, почему Ингрид занимается нейтронными звездами.

— А почему бы ей ими не заниматься? — удивился Ли Сяо. — Ингрид увлекалась астрономией с детства. Верно, Ингрид?

Оказывается, девушка давно уже подключилась к нашей беседе — в стене светилось ее стереоизображение.

— По-моему, Леонид Афанасьевич придает своему вопросу какой-то особый смысл, — сказала она.

— Верно, — согласился я.

— Объясните, пожалуйста, — попросил Комаров.

— Позднее, — уклончиво сказал я, привычно оставляя на будущее решительное объяснение. — Я могу пользоваться информатекой?

Комаров вопросительно посмотрел на Оуэна.

— Сколько угодно, — сказал тот.

Я встал и попрощался. Уже у двери услышал голос Комарова:

— Дотошный народ эти литераторы.

7

Тишина на Полюсе фантастическая. Кажется, что если приложить ухо к стене, то можно услышать, как на другом полушарии — километрах в семи — мягко стучит телетайп в лаборатории связи.

После ужина навалилась усталость, и вечернюю сводку новостей я смотрел, лежа в постели. Было письмо и от Наташи, написанное в свойственном ей «изумленном» стиле: «подумать только», «как же ты там» и так далее.

Заснул я крепко, но тогда отчего проснулся среди ночи? Что-то застряло в мыслях, идея, вспомнить которую было невозможно — совершенно не за что уцепиться. В глухой тишине ночи будто растворились все ориентиры памяти.

Я встал — нужно было обязательно прогнать эту абстрактную тишину. Громко топал ногами, щелкал тумблером утилизатора, но звуки, производимые мной, казалось, конденсировали тишину еще больше. Тишина нарастала на звуках как на центрах конденсации. Единственное, что могло уничтожить наваждение, — звук человеческого голоса. Я поехал на эскалаторе в медотсек, рассудив, что если и есть сейчас кто-нибудь бодрствующий на Полюсе, то это дежурный.

Медотсек оказался больницей коек на сто — вероятно,

проектировщики считали, что среди экипажа может начаться эпидемия. В комнате дежурного меня встретила Ингрид, пока я возился в тамбуре, умываясь и натягивая стерильную пленку, она успела приготовить кофе.

Просто удивительно, как ночь, даже если она условна, и чашка кофе заставляют откровенничать с незнакомым человеком. За полчаса я успел рассказать все о себе и о Наташе и услышал, как Ингрид ходила несколько лет назад на Пик Победы. И глупо сорвалась в пропасть. Летела почти два километра, но ничего не помнит, сразу потеряла сознание. И осталась жива. Спасло чудо: она упала на склон снежного завала и покатилась, скользя. Нашли ее быстро, откопали, сшили и склеили переломанные кости, но месяца четыре пришлось лежать без движения.

Тоскуя на больничной койке, не зная еще, удастся ли встать на ноги, Ингрид занялась нейтронными звездами. Раньше она специализировалась на квазарах. Почему нейтронные звезды? Потому что они представлялись Ингрид такими же физически ущербными, как она сама. Звездные огарки, которым ничего не осталось в жизни... Как и ей.

— Это я на ваш вопрос отвечаю, — сказала Ингрид. — Помните, вы спросили за ужином?

Я кивнул. Я думал о другом, знал, что мысль появится, только ждал толчка. И дождался. Будь со мной моя картотека, я бы уже давно обо всем догадался. Конечно, это было в фантастике! Именно нейтронные звезды. Рассказ был опубликован лет сорок назад. Хороший рассказ, яростный, от души. И был забыт, как большинство таких рассказов, — отличный по мысли, он был написан рукой дилетанта. Автор был неплохим астрофизиком, но никудышным литератором.

— Извините, Ингрид, — сказал я. — Вспомнилось кое-что...

— Из области фантастики?

— Да... Старый рассказ. Вам это может быть знакомо... нейтронная звезда как носитель разума. Солнце, сжатое до размеров небольшого городка. Немыслимое давление заставляет нейтроны слипаться друг с другом. Возникают длинные нейтронные цепочки — нейтронные молекулы. Неорганическая жизнь. Вообще непонятно

какая жизнь. Для меня непонятно... Но жизнь. Вся звезда становится единым мозгом. В ее сверхпроводящем и сверхтекучем теле все нейтронные молекулы оказываются связанными информационной цепью сигналов. Огромный мозг в черепной коробке размером двадцать километров. Мозг, для которого наша Земля — ничто, пустота, сквозь которую можно пронестись, не заметив... И однажды звезда осознает себя, начинает быть... Звезда пробуждается в полном и жутком одиночестве. Голове без туловища легче. И даже человеку без людей — ведь у него остается Земля. А здесь ничего — космос на десятки световых лет. В рассказе этот разум... покончил с собой. Автор хотел сказать — невозможно жить в одиночестве. Разум сам по себе — ничто...

— Кто это написал? — заинтересовалась Ингрид.

— Горбачев. «Дальние поля».

— Горбачев,— изумленно сказала Ингрид.— Это же...

— Был такой астрофизик.

— Я и не знала, что он писал фантастику.

— В молодости. Прошло ведь сорок лет.

— Да, сейчас Владимир Гдалевич стар. Потому его и нет здесь, на Полюсе.

— А должен был быть? — удивился я.

— Горбачев очень хотел полететь на конференцию. Он мой учитель. После той истории в горах... Я работала у Горбачева в Киеве.

— Вы не знали, что Горбачев писал рассказы, а я не знал, что он жив. Спасибо за информацию. Еще один камень в фундамент моей гипотезы.

— Она у вас пока на уровне фундамента? — сказала Ингрид.

Я неопределенно пожал плечами и встал. Спать мне уже не хотелось. «Утром, — подумал я, — приду и расскажу Комарову и Борзову историю их эксперимента». Осталось немногое — побывать в обсерватории, а потом хорошо подумать, сцепить звенья рассуждений так, чтобы никто не смог расцепить их.

Выходя, я бросил взгляд на панель следящей биосистемы. Шесть глазков трепыхались зеленым светом. Никто не спал на Полюсе в эту ночь. Кроме Стокова, конечно.

8

В обсерватории ничего не изменилось. Все телескопы с прежним упорством изучали ничто. Теперь-то я догадывался, что они искали. Хотел убедиться.

Я отыскал в памяти компьютера список нейтронных звезд на расстоянии до десяти световых лет от Солнца и вывел его на экран дисплея. Список оказался куцым — всего восемь звезд, случайно обнаруженных пролетавшими экспедициями.

Одна из нейтронных звезд в созвездии Дракона и была тем объектом, который так интересовал членов уважаемой комиссии. К этой звезде ушел импульс, после которого «Конус» стал грудой металла, а Полюс лишился воздушной оболочки. И ставился эксперимент с ведома Совета координации. Специально к его окончанию (возможность аварии учитывалась, но надеялись, конечно, на лучшее) было приурочено открытие конференции.

Я отыскал на пульте селектор и вызвал медотсек. Как я и предполагал, вся компания была в сборе. Будто и не расходились после ужина.

Кажется, я прервал на полуслове речь Комарова — он застыл с поднятой рукой, белая грива свесилась на глаза, и он откинул волосы величественным жестом.

— Это вы, Леонид Афанасьевич, — сказал он недовольно, и я его вполне понял. Задача перед комиссией трудная, получилось далеко не все, а может, и вовсе ничего. А тут появляется какой-то литератор, вообразивший, что разберется в сложнейшей проблеме без посторонней помощи.

— Извините, — сказал я. — У вас заседание?

— Нет, — ответил Комаров. — Просто бессонница. Как и у вас.

— Итак, Леонид Афанасьевич, — спросила Ингрид, — ваша гипотеза поднялась над уровнем фундамента?

— Не гипотеза, — сказал я. — Теперь я точно знаю.

Они переглянулись. Короткий обмен взглядами, даже Оуэн не остался в стороне. И улыбки. Они так и не приняли меня всерьез. Ни меня, ни метод. Ну хорошо.

— Думаю, — сказал я, — что все началось с работ Борзова. Статистика гениев. Если Николай Сергеевич прав, то эволюция человечества тормозится. Почему?

Кое-что можно понять, прочитав статьи Ли Сяо. Изучая природу, люди веками отвергали многие вопросы как ненаучные. Считалось бессмысленным спрашивать: почему ускорение пропорционально силе? Почему сохраняется энергия?.. Но вот люди начали изменять законы природы. И оказалось, что нельзя развивать науку, не ответив на все эти еретические «почему». А ответов нет... Ли Сяо так и не нашел единой системы в законах природы. Почему? В его статьях об этом ничего нет. И я подумал: Ли Сяо работу закончил, но не опубликовал. Он доложил о результатах на заседании Совета координации. Так?

Имел я в конце концов право задать один прямой вопрос? Пусть Сяо ответит, и я продолжу рассуждения.

— Так, — улыбнулся Ли Сяо.

— Стали думать вместе... Не берусь воссоздавать логику появления идеи, я ведь дошел до нее методами фантастики, пропустив этапы, занявшие, вероятно, около года...

— Полтора, — вставил Ли Сяо.

— Полтора... А вывод был такой. В законах природы нет единства, потому что они искусственны. Давно, задолго до возникновения рода людского, законы мироздания были иными, более стройными. Все законы природы объединяла система, возникшая в момент большого взрыва Вселенной двадцать миллиардов лет назад. Но когда-то во Вселенной впервые возникла жизнь... Разум... Потом еще... И как мы сейчас, древние цивилизации начали изменять законы природы. Но мы на пороге, а они успели многое. Причем каждый разум действовал в собственных интересах. Одному для межзвездных полетов понадобилось ускорить свет. Другой пожелал изменить закон тяготения. Третий занялся переустройством квантовых законов... И мир менялся. Как мы когда-то оправдывали уничтожение лесов, так и те, могущественные, оправдывали нуждами развития этот хаос, приходящий на смену порядку. На каверзные «почему» о массе фотона, скорости света можно было легко ответить тогда, но впоследствии эти вопросы действительно потеряли всякий смысл. Какая логика в хаосе? Из гармонии законов природы возникла их свалка. Вот так... Мы с вами живем в пору экологического кризиса, захватившего всю Вселенную. Когда-нибудь Вселенная вновь

сожмется в кокон и затем взорвется для очередного цикла, и тогда новые законы природы будут опять едины. Но любоваться их гармонией будет некому. Мы-то живем сейчас...

Исподволь нараставшее ощущение жути прорвалось лавиной, захлестнуло, понесло... Раньше в моих рассуждениях была только логика — не до эмоций. Но эта фраза... Мы-то живем сейчас. Где?! Много раз я описывал в рассказах ощущения человека, неожиданно понявшего, что его открытие может принести людям гибель. И лишь сейчас понял, насколько мои описания были приблизительны и бедны, а то и попросту неправдоподобны. Пожалуй, я и свое мгновенное ощущение ужасности собственного предположения не смогу описать четко. На поверхности билась, как зверь в агонии, мысль: «Не может этого быть! Мало ли куда заведет логика!» Сейчас Комаров скажет «ерунда». Сейчас скажет...

Но меня никто не прерывал, а сам я просто боялся остановиться, чтобы не сбить мысль, куда бы она меня ни завела.

— Потому и исчезли гении в науке, — я говорил теперь медленно, с паузами. — Гений — это вершина чисто человеческого метода познания мира. Вершина нашей, человеческой, логики. А какая логика в свалке? Мы должны узнать, что было раньше, когда человечества, да и самой Земли не существовало. Кто расскажет, как выглядела Вселенная, не обезображенная вмешательством разумных? Только цивилизация, которая видела все и, возможно, сама помогала превращать Вселенную в свалку. Как найти такой разум? Ответ подсказал Горбачев. Нейтронная звезда, старушка с миллиардолетней биографией...

Я замолчал и будто впервые увидел, что говорю не в пустоту, что меня слушают люди. Комаров качал головой, Борзов шептался с Ингрид, а Оуэна и вовсе не было в комнате — я не заметил, когда он ушел. Один Ли Сяо слушал внимательно и доброжелательно.

— А вы оптимист, Леонид Афанасьевич, — сказал Комаров. — В этом, можно сказать, психологическая инерция современных фантастов: все они сплошь оптимисты.

— Это плохо?

— Это прекрасно! Но именно оптимизм ие позволил вам правильно разобраться в проблеме.

Меня как ударило. Зиачит, я иеправ! Это замечательио! Но... При чем тогда мой оптимизм?

— Идите к нам, — сказал Комаров. — Что зто за разговор — на расстоянии?

И я пошел. По пути все поворачивал рассуждеиия туда и сюда — все было крепко. Какой уж тут оптимизм — кто-то создал из Вселенной свалку, а мы живем в ней, да еще вынуждеиы расчищать. Попробуйте разобраться в логике мусорной кучи! Что-то, конечио, поймете — вот обломки реактора, а это коробка из-под сардин, а здесь почти целый стереоаппарат. Но никогда ие видев иеповрежденного реактора, вы решите, что он таким и должеи быть. Вы твердо убеждены в пресловутой логике коиструктора-природы, убеждены, что все так и было с момента большого взрыва, и вы просто по тупости своей не поиимаете всех причин и следствий. Разум могуч, со временем разберемся! Не разберетесь.

Ведь вы ие подозреваете о том, что кто-то, безразличиый к будущему, когда-то еще до вашего рождения крушил логику мироздания, приспосабливал гармоиию закоиов природы для своих очеиь важных, но все же личиых целей...

Я ввалился в медотсек, можно сказать, по макушку иаполнениый злостью на тех, кто оставил нам изуродованиую и даже красивую в своем уродстве Вселениую. Мы-то другой ие знали.

— Садитесь, — предложил Комаров, — и выдайте Николаю Сергеевичу проигранные вами сто пиастов.

— Если я проиграл, то почему сто, а не двести?

— Вы проиграли наполовииу. Отиосительно зкологического кризиса в нашей области Вселеиной вы совершеино правы. Но в остальном вы излишне оптимистичиы. По-вашему, мы ищем коитакта, чтобы расспросить эту иейтроииую старушку о том, что она видела на заре, так сказать, туманной юности? Такое любопытство было бы замечательио... Но дело серьезнее. Люди вовсе не тупеют. Но гениальных открытий действительио нет. Дело в том, что мы достигли потолка для мышления иашего типа. Из-за зтой проклятой свалки законов мы никогда ни черта не поймем больше в нашем мире.

Не из-за тупости нашей, а потому, что нужен иной тип мышления. Законы Вселенной разобщены. Есть явления, мимо которых мы, люди, всегда проходили, не замечая, — эти явления лежат вне нашей логики. А где-то иной разум, возникший в принципиально иных условиях, познает мир по-своему и знает то, что мы в принципе знать не можем. Но не подозревает о том, что нам кажется совершенно элементарным. Природа познаваема, но чтобы познать ее, недостаточно одного разума. Контакт, Леонид Афанасьевич, не любознательность, а ·редство спасения разума как вида.

— И вы обратились к разумной нейтронной звезде...

— Ерунда все это, — отрезал Комаров. — Разумная звезда — нонсенс. Разум развивается как сообщество, а не как единый организм. Для развития нужны конфликты, в том числе и социальные.

— Погодите, — сказал я. — Но вы-то все же...

— Нейтронная звезда, — назидательным тоном сказал Комаров, — не может быть разумной как целое и, значит...

— Значит, вы обратились не к ней, а к н и м, — сказал я, и Комаров замолк на полуслове. Все-таки он никак не привыкнет к тому, что профессионал-фантаст может до многого дойти быстрее, чем профессионал-ученый. Давно я не ощущал такой ясности в мыслях, давно не чувствовал такого острого желания спорить и доказывать. Ну хорошо. Я скажу вам так, с ходу.

— Не к ней, а к ним, — повторил я. — Если нейтронная звезда не может быть мыслящим индивидом, то она есть общество мыслящих. Давайте рассуждать... Когда погружаешься в недра нейтронной звезды, условия меняются буквально с каждым миллиметром. Опустившись на метр, вы попадаете в совершенно иной мир. Значит... Применим прием многоэтажности... Не знаете? Это из теории фантастики, в которую вы не верите. Так вот, в недрах нейтронной звезды существует множество цивилизаций на каждом уровне. Существо из одного разумного слоя не может ни подняться, ни опуститься в другой слой — оно или распадется, или будет раздавлено. Оно может перемещаться только на своем уровне, на поверхности своей сферы. Двухмерные цивилизации, вложенные одна в другую, как матрешки.

Миллионы, миллиарды цивилизаций в одной звезде! Да об этом роман можно написать. Миллионы цивилизаций, и в каждой миллионы существ со своими проблемами. Понять друг друга им трудно, а понять нужно, иначе — вырождение, гибель. У тех, что обитают в верхних слоях звезды, мало энергии, но им доступен космос. Внутренние цивилизации более замкнуты, их интересы ограничены — ведь они ничего не знают о космосе, о Вселенной. Может, действительно не обошлось без трагедий. Какая-то цивилизация не пожелала сотрудничать с соседями и погибла. Распались цепочки нейтронных молекул... Со временем они все же нашли общий язык, иначе погибли бы все. И тогда? Новые проблемы... Свой-то мирок ясен, но вне его — ужасающая огромность и пустота, которая и есть мир... Звезды? Планеты? Откуда им знать, что такое звезды? Обычная звезда, такая, как Солнце, для них — пустота... Им не покинуть своего плена, ловушки, которую они зовут родиной. Что делать? Выход один — контакт. Хотя бы попытка...

— Вы действительно сейчас это придумали? — спросила Ингрид. Отличный вопрос, на любой читательской конференции его задают сразу после решения показательной задачи.

— Что в этом удивительного? Существует метод. Фантасты им пользуются издавна, а специалисты-ученые считают дилетантством и смотрят свысока. Они никак не хотят признать, что при столкновении с новым даже в своей узкой области профессионал-ученый не лучше профессионала-фантаста, владеющего методами фантазирования.

— Мы здесь все, в общем, специалисты, — тихо сказал Ли Сяо.

Повисло молчание. В то, что дилетант может иногда дать фору специалисту, никто не верил. И я ушел. Я действительно устал и хотел спать. Ночь была длинной, разговоры — трудными, но теперь мне почти все было ясно.

9

Завтрак я проспал. Войдя в кафе, бодрый и готовый продолжать дебаты, я застал одного лишь Оузна.

— Ричард, — сказал я, — вы-то как оказались в этом эксперименте? Только потому, что решено было использовать аппаратуру Полюса?

— Конечно... Стоков сказал мне месяц назад. Сам он участвовал в разработке давно. Плохо все получилось, Леонид Афанасьевич. Пришлось в тысячу раз превысить штатную нагрузку, иначе там, в районе нейтронной звезды, сигнал был бы слишком слаб. «Конус» рассчитан на приемники звездолетов, когда аппаратура специально выделяет сигнал в солнечном излучении. А для того чтобы передачу заметил непосвященный, сигнал должен быть ярче Солнца. Пришлось пойти на риск... Разумом я понимаю, что это было нужно... Но... Профессиональный разум инженера со всей его инерцией — он у меня в ладонях. Я прикасаюсь к металлу во второй пультовой и... Рано мы поставили опыт, пожалуй, на десяток лет поторопились. К тому же и без результата.

— Какой же мог быть результат сейчас? — сказал я. Это был последний вопрос, на который я не мог ответить. За двое суток сигнал даже при тридцатикратном ускорении света, какое дает «Конус», прошел лишь десятую часть светового года. До цели он доберется через три месяца. Будет ли передача принята? И сколько времени понадобится им, чтобы понять смысл? И сколько, чтобы отправить ответ? Плюс три месяца, а в худшем случае почти пять лет обратной дороги. А наблюдения ведутся с момента передачи! Я все думаю об этом. Обо всем догадался, а здесь застрял.

— Спросите у Комарова... По-моему, это фантазии теоретиков: они, видите ли, считают, что нейтронные цивилизации умеют обращать вспять время.

«Так, — подумал я. — Все верно, мог и сам догадаться. Ведь и такая идея была в фантастике! Давно, лет восемьдесят назад. Бронксон — автор, а название — «Открытое окно». В то время в науке и фантастике популярной была идея черных дыр. Внутри черной дыры — так установили ученые, а фантасты подхватили — время и пространство как бы перепутываются. Время превращается в пространство, а пространство — во время. Время внутри черной дыры трехмерно, а пространство однонаправленно. Бронксон написал рассказ о приклю-

чениях землян в черной дыре. Они запускали двигатели и в результате перемещались во времени — во вчера или завтра. Но с места не сдвигались — ведь машины времени у них не было! Тогда они двинулись не вперед или назад, а «вбок» — в трехмерном времени это получилось легко, и они вылетели в иное время, где не было черной дыры, захватившей их звездолет. Вылетели не в завтра или вчера, а куда-то в иную Вселенную. И даже на Землю вернулись, отважившись еще раз пройти сквозь черную дыру. Ну что бы мне вспомнить рассказ Бронксона раньше?

Внутри нейтронной звезды поле тяжести послабее, но все же оно способно искажать пространство и время. И они обязательно используют этот закон природы. Живые существа, развиваясь, стремятся овладеть окружающей средой. Мы, люди, придумали поезда, автомобили, самолеты, космопланы для передвижения в нашем плоском и пустом пространстве. А они? Что придумали они?

— Вот именно, — сказал я. Должно быть, пока я соображал, прошло минут пять — Оуэн съел омлет, выпил молоко и складывал посуду в мойку. Он удивленно посмотрел на меня.

— Скажите, Ричард, как вы себе представляете цивилизации в нейтронной звезде? Какие у них, например, автомобили?

— Не представляю я их,— раздраженно сказал Оуэн.— Я инженер. Для меня материя — это металл, дерево, камень, то, из чего можно что-то сделать и где-то разместить. И застоя в инженерном деле я не вижу. Что вы так смотрите, Леонид Афанасьевич? Вам лично по душе эта авантюра? Эксперимент, основанный на недоказуемых предположениях. И между прочим, одна из идей, на которых все строилось, уже провалилась.

— Вы имеете в виду отсутствие ответа?

— Именно!

— По-моему, мысль была логичной. Странно, что она оказалась неверной... Я потому и спросил, как вы представляете их автомобили. Там, в недрах звезды, все перекручено — пространство и время. Перемещение во времени для них не проблема. Человек преж-

де всего изобрел колесо, а они — машину времени... Отвечая на наш сигнал, они могут послать ответ из своего прошлого так, чтобы мы получили его как можно скорее после нашей передачи. В идеале сразу после нее.

— Все это мне известно, — с досадой сказал Оуэн. — И все это нисколько не убеждает. К тому же... Двое суток после передачи. Где ответ? И сколько теперь ждать? Год, три, десять?

10

Стокова разбудили в полдень. Он был слаб, но в полном сознании. Очнувшись, спросил: «Есть ответ?»

Я узнал о пробуждении Стокова по информу — с утра сидел в архиве, отключив средства связи. В медотсеке дежурил Ли Сяо. Он показался мне на экране уставшим — смотрел вприщур, зевал, не раскрывая рта, но так напрягал скулы, что у меня самого звон стоял в ушах.

— Вы бы отдохнули, Ли, — предложил я. — Могу вас заменить. Кое-какой опыт в медицине есть и у меня.

— Приходите, — неожиданно согласился Ли Сяо.

Но пошел я не сразу. Вернулся к себе, просмотрел материал, отобранный в архиве. Прекрасный материал. Именно то, что я искал. Как говорится, материал, который ставит точку. Но непривычный информационный поток — вот где нужен был профессионал! — вымотал меня, в голове гудело, глаза слипались, и я, расслабившись, посидел несколько минут.

Когда я наконец явился в медотсек, Ли Сяо дремал у постели Стокова. Лидера Полюса я видел всего раз — пять лет назад, тогда он был с бородой, не очень густой, но скрывавшей черты лица: узкий, будто птичий, подбородок и чуть выпиравшие скулы. Голова его была забинтована и прижата к подушке лентой диагноста. Меня Стоков узнал сразу.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

— Отлично и глупо, — голос был слаб и вибрировал. — Отлично, что жив, и глупо, что ранен.

— Я рассказал Сергею, как вы разобрались в проблеме, — сказал Ли Сяо. — Кстати... Вам просили передать ваши двести пиастров.

Он действительно достал что-то из бокового кармана и вложил мне в ладонь. Это был металлический кру-

жок. На лицевой стороне была выбита стрела с узким острием и широким концом, будто ракета в пламени старта. Нагрудный знак члена Совета координации. На обороте в обрамлении звездочек была выбита моя фамилия. Я вопросительно посмотрел на Ли Сяо.

— Вас избрали по рекомендации Сергея Станиславовича, — пояснил Ли Сяо. — Собственно, пригласить вас на Полюс — тоже его идея. Должен прямо сказать, особого энтузиазма она не вызвала. Многие считали, что полезнее было бы участие специалиста по информатике.

— Это и ваше мнение?

— Интуиция у вас действительно... — уклончиво сказал Ли Сяо. — Ну хорошо, назовем это методом... Но учтите, что здесь вы не для разгадывания ребусов. Это уж вы, простите, сами вызвались. Основная работа впереди.

— Ответа на передачу еще нет, — напомнил Стоков.

— Знаю, — сказал я, опуская значок в нагрудный карман. — Если я правильно понял, вы рассчитываете на две возможности. Первая — ждать ответа до победного конца. Когда-нибудь они ответят, даже если не научились управлять свойствами пространства-времени. Вторая возможность — продолжать поиски партнера. Возможны ведь иные типы разумов, немыслимые с точки зрения здравого смысла. Так? И в мою задачу входит придумывание таких безумных цивилизаций?

— Примерно, — сказал Стоков, закрыв глаза. Даже этот короткий разговор утомил его. — Ждать и искать... Наверно, нейтронные цивилизации... ошибка... они еще в пределах нашего понимания... и значит... не такой партнер нужен...

Ли Сяо набрал комбинацию цифр на переносном пульте, лежавшем у него на коленях. Из стойки выдвинулся стержень инъектора, щелчок, и аппарат исчез в гнезде. Мы ждали. Лицо Стокова порозовело, дышал он глубоко и нечасто — уснул.

— Посидите здесь? — спросил Ли Сяо.

— Пожалуйста, Ли, позовите всех сюда, — твердо сказал я. — Как ночью. На чашку кофе.

Ли Сяо улыбнулся — это была прежняя скептическая улыбка, будто говорившая: «Ты действительно коечто умеешь, но зачем же отрывать людей от дела?» Не-

делю назад такой улыбки было бы достаточно, чтобы отбить у меня желание что-либо доказывать.

— Позовите, Ли, — неожиданно сказал Стоков не открывая глаз.

Ли Сяо вышел.

— Вы не сердитесь на меня, Леонид Афанасьевич, за то, что я втянул вас в это дело? — спросил Стоков. Инъекция придала ему сил, он выглядел значительно бодрее.

— Напротив! Я-то думал, что оказался здесь случайно.

— Случайных людей на Полюсе нет. Жаль, что опыт не удался. Если бы пришел ответ...

— Ответ есть, — сказал я. И рассказал все. И показал. Утомил я его нещадно, пришлось сделать еще один укол. На этот раз Стоков действительно заснул.

Я ждал, и впервые ожидание доставляло мне удовольствие. Когда Ли Сяо сказал, что комиссия в сборе, я был спокоен как Зевс-олимпиец. Положил перед Комаровым микрофильм и вернулся к постели Стокова.

Метод не подвел, и рассуждение было элементарным. Тот, кто там, в нейтронной звезде, ищет контакта, тот, кто научился менять пространство на время, тот, кто, поняв наш сигнал, пошлет ответ, он ненамного ошибся. И ответ мы получили сорок три дня назад. Довольно слабая серия рентгеновских вспышек была записана детекторами Полюса и погребена в блок-архиве — полтора месяца назад здесь еще работали строители, а научные результаты заготовлялись впрок, как грибы на зиму.

Конечно, в содержании сигнала я не разобрался — это дело специалистов. Но сигнал был четким. Главное, был!

Если уж предположить, что они могут двигаться вспять во времени, то легко сделать еще шаг и вообразить, что мы рискуем сегодня получить ответ на вопрос, который зададим завтра...

Все-таки я устал. Растянуться бы на свободной кровати и заснуть. Что-то тихо в соседней комнате. Никто не входит, не поздравляет с успехом. Я выглянул: никого. Я сначала даже опешил, потом догадался — по-

шли проверять. Ну хорошо. Проверяйте, сопоставляйте, думайте. Преодолейте барьер. Свой барьер я уже преодолел.

ЗВЕНО В ЦЕПИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Я размышляю.

Я заставляю себя размышлять, и со временем это становится все труднее. Познание. Знать все. Все уметь. Да. Я знаю все и все умею. Когда-то были опасности. Сейчас их нет. Когда-то я в страхе удирало от одной-единственной разбушевавшейся звезды. Сейчас играючи расправляюсь с огромным скоплением.

Я размышляю... Мой разум возник для того, чтобы я могло обеспечить себя всем необходимым, чтобы я могло выжить. Разум — для жизни. А теперь? Разум выполнил свою функцию, исследовал мир. Мой мир. Я вижу, ощущаю его.

Я — одно, в то же время я — это семнадцать тысяч глобул, разбросанных в Галактике. И вне Галактики. Я уже привыкло к тому, что тысячи моих глобул находятся в других галактиках. А прежде? Откуда я взялось? Почему? Эти проблемы долго занимали меня, пока я их не решило. Как и все иные проблемы.

Я размышляю, но это не мешает мне проводить операции подготовки к очередному циклу питания. Пятью тысячами глобул я готовлю нужные звезды к работе. Я выбираю шаровое звездное скопление высоко над спиралями моей Галактики. Моего дома, где я хозяин, где все мне подвластно и где мне предстоит прожить столько, сколько проживет сама Вселенная. Почти вечность.

Мои глобулы окружают скопление, и я вижу его сра-

зу из пяти тысяч точек, и хочу, чтобы случилось что-нибудь и нарушило этот привычный, стандартный, надоевший ритуал. Сверхновая. Коллапс. Магнитное стягивание. Ничего... Ничего и не может случиться, ведь я само выбрало цель и я проникаю в скопление, ищу звезды-жертвы, готовые стать мне пищей, и привычно раскачиваю звездные недра. Вверх-вниз, ярче-слабее. Мне нравится это — отыскивать звезды, находящиеся на пределе устойчивости: достаточно небольшого вмешательства, и звезда начинает колебаться. Вверх-вниз, ярче-слабее. Еще и еще. А я поглощаю эту энергию.

Я знаю все: прошлое и будущее. Сорок семь оборотов сделала Галактика, сорок семь галактических лет — мой возраст. Почтенный возраст. Когда-то я встретило глобулы такого же, как я, существа. И впервые мне не захотелось жить. Оно было старше меня. Ненамного, на год-другой. Оно жило, глобулы его функционировали, мысли его неслись по изгибам нулевых линий, но оно уже достигло цели своей жизни, оно все знало и ничего не хотело, оно было равнодушно ко всему и почти не отличалось от обычных темных глобул, разбросанных в галактических спиралях. Только я и могло понять, что оно живет. И еще я поняло, что жить оно не хочет. Раньше я думало, что ничто не в силах меня убить. Теперь я поняло: это способно сделать знание. Жить заставляет тайна. Если нет тайны, зачем жить? Ничего не понимать и понимать все — разве это не одно и то же? Жизнь — стремление... Я ринулось прочь, мгновенно собрало все свои глобулы на противоположном крае Галактики. С тех пор минуло два года, начало распадаться шаровое скопление, где я встретило то существо. Пропадает прекрасная пища! Но я больше не вернусь туда...

Было время, когда я воображало, что незнание вечно и, значит, вечна жизнь. Это было время оптимизма. Даже ближайшие галактики были для меня недостижимы. Сейчас я могу переместить мое сознание в любую из моих глобул, что находятся у ядер квазаров, но я не делаю этого, потому что ничего нового там не обнаружу. Я могу... Я знаю... Да есть ли во Вселенной что-нибудь, чего я не знаю или не могу?!

Я размышляю...

2

После очередной взбучки Ант решил, что никогда больше не обратится к Старшим за советом. Да и что они такое — Старшие? Время давно всех уравняло. В конце концов, мудрость измеряется не возрастом, а силой и формой поля тяжести. Нужно, однако, быть справедливым: Старшие мудры. Они даже сумели разобраться в том, что такое свет! Для Анта свет всегда был загадкой. Он знал, что звезды — зародыши его братьев и сестер — излучают волны, которые он, Ант, способен уловить, расчленить и исследовать, только закрутив около ядра своего гравитационного мозга. Там эта добыча и останется навсегда. Как пища свет ничего не значит, слишком уж он разрежен. Разве что при вспышке Сверхновой, когда рождалась сестра или брат, можно было испытать блаженство световой оргии, но для этого нужно оказаться, так сказать, на месте происшествия, а тогда неминуемо схлестнешься с новорожденным. Не очень это приятно — слияние двух полей тяжести, двух разумов, не разберешь, где я, а где тот, сейчас родившийся. Чужие мысли, особенно изумление перед внезапно открывшимся миром, давят, Ант не раз это испытывал. Старшим все равно, они, бывает, вторгнутся в тебя и формируют своими полями твои мысли, твои желания, твой характер. Ант не любил этого больше всего. Самостоятельность — вот что необходимо для счастья.

Ант был несчастлив. Старшие не помогли ему, больше того, они назвали Анта бессистемным фантазером. «Есть вопросы, которые нельзя задавать, — сказали они, — потому что ответов на них не существует. Поверь, Ант, мы хотим тебе добра. Не ты первый. В самые давние времена несколько Старших погибли, задавшись целью ответить на кощунственные вопросы, например, на такой: «Почему в звездах возникает свет?» Этот вопрос уже несет в себе зародыш гибели для спрашивающего. Ведь ты, Ант, знаешь, что звезда — это ядро будущего разумного мозга. Звезда рождается из пустоты, где поля тяготения неразумны — ведь они так слабы! Потому-то они не могут формировать ядра по своему желанию. Вот и возникают звезды, и в них изначально живет свет, который звезда теряет, пока не освобо-

дится от этого груза, и тогда — тогда звезда сжимается почти мгновенно и рождается мыслящее поле тяжести; ты, Ант, родился так же. Лишь мы, Старшие, появились иначе — в ядрах галактик, а некоторые, даже когда родилась Вселенная...»

Ант расслабил свои поля-щупальца и ощутил там, на кончиках их, прикосновения других разумных, ласковые, ищущие, дружеские прикосновения. Ощутил он и Леро, с которой они давно решили сблизиться так, чтобы их ядра, бывшие когда-то звездами, стали двойной системой. Ант не отвечал на ласки. Сейчас ни Леро, и никто из Старших не могли помочь ему. Вопросы, которые он сам себе задал, были мучительно-жестоки, и Ант знал, что будущее разумных зависит от того, какими окажутся ответы.

Есть ли иные формы разума, кроме мыслящих полей тяжести? Может быть, есть, и может быть, им открыто многое, чего не знаем мы? Может, они знают даже, что такое свет? Может быть, кощунственные вопросы кощунственны лишь для нас? Так уж мы устроены, мы — поля тяготения, мы бесконечны и вечны. Но ведь есть что-то во Вселенной и кроме нас. Свет... Магнитные поля... Электрические... Звезды... И что-то еще, иногда улавливаемое на границе ощущений, столь эфемерное и слабое, что для него нет и названия.

Мы догадываемся, что это есть, и не можем знать большего. Почему? Что если кощунственные вопросы и есть те единственные вопросы, на которые во что бы то ни стало нужно найти ответы?!

3

Заря разлилась медоточивая, мягкая и пряная. Она баюкала и пробуждала, она заставляла дрожать невидимые нити в душе, и нити эти резонировали, и все упругое кристаллическое тело наполнял возбужденный покой, незабываемое противоречие мыслей и ощущений, ради которых стоит жить и смотреть, и чувствовать, и любить под огромным, нескончаемым оранжевым небом, где вечные сполохи и переливы полутонов, мягкие как душевный покой... Мир прекрасен... Что? Что?! Что?!! Свет! Ярость!! Боль!!! О... Зачем?.. Нет! Нет!!! Конец...

. . . .

4

Дмитрий умылся холодной водой из ручья и, стуча зубами, долго обтирался махровым полотенцем. Потом стоял, прислонившись к шершавому, покрытому потеками смолы стволу старой сосны, и ждал, когда взойдет солнце. Первый луч он поймал почему-то не глазами, а кожей. Сначала ощутил на лице теплое дыхание и лишь потом понял, что багрянец над холмами не просто предвестник дня, а само солнце, выступившее ожидаемо и неожиданно.

Он вернулся в домик. Алена спала, и Дмитрий смотрел на ее лицо, на пепельные, с рыжеватым отливом волосы, на любимую им ямочку на подбородке, на худенькие плечи и руки, лежавшие поверх полупрозрачной простыни. Минутное счастье: смотреть на Алену и думать о том, что никто не помешает им быть вместе. Долго — целый месяц. До ближайшего села пять километров. Остров. Оказывается, и на суше, в сотне километров от Москвы, можно найти необитаемый остров.

Год назад они познакомились на какой-то нелепой вечеринке у Борзовых, где отмечали то ли возвращение Николая Сергеевича из полета на Полюс, то ли удавшийся эксперимент, проведенный на этом искусственном астероиде (пили за оба события и за многое еще, о чем Дмитрий успел забыть). Он и Алена точно в омут бросились. Видели только друг друга, говорили только друг с другом. Нашли много общих интересов и решили, что в них-то и причина взаимной симпатии. Оба — научные сотрудники, оба — с математическим образованием. Он — футуролог, она — специалист по системам управления. Оба любят читать, из музыкальных жанров предпочитают классический джаз. Поискав, они нашли бы и больше «точек касания», но для первого вечера хватило и этих. Потом были другие вечера, триста шестьдесят три вечера, и далеко не все, конечно, оказались такими прекрасными, как первый. И как последний — триста шестьдесят четвертый. Вчерашний.

Солнечный луч отыскал в портьере щель и, будто заранее прицелившись, тонким шнуром уперся Алене в переносицу.

— Утро? — спросила она шепотом и огляделась, впервые увидев комнату при дневном свете. Вчера они при-

шли сюда поздно, когда уже стемнело, света не зажигали, до того были уставшими и до того им было плевать на весь мир, где ничего не имело значения, кроме них двоих.

— Утро, — сказал Дмитрий.

— Наше первое утро вдвоем, и впереди таких утров двадцать восемь.

— Утр, а не утров, — пробормотал Дмитрий. — И вообще, утро бывает одно. Все другие — лишь повторения...

* * *

Это был удивительный день. Шашлык на костре — Дмитрий никогда не готовил его раньше, но получилось неплохо. Беготня по заросшему высокой травой лугу. Редкие грибы в рощице — поганки, наверное?

— Целый месяц такой жизни, — сказала Алена, — я сойду с ума.

— Хорошо, правда? — Дмитрий обнял ее, зарылся лицом в волосы.

Это была дача Борзова, шефа Дмитрия. «Поживите месяц у меня, — предложил Борзов. И добавил многозначительно: — Но, Дима, не забывайте о деле...»

Потом была вторая ночь, и когда Алена уснула у него на плече, Дмитрий подумал о многозначительном напоминании Борзова и о тех месяцах нервной гонки в работе, которые предшествовали предложению шефа. «Завтра, — подумал Дмитрий, — нет, уже сегодня. Я сделаю это, потому что так решено». Он лежал без сна, как и вчера, но мысли были иными. Завтра, нет, уже сегодня предстоит объяснить Алене сущность эксперимента. Алена ничего не знала о том, чем на самом деле они занимались в своей футурологической группе. Конечно, они многое рассказывали друг другу, и Дмитрий прекрасно разбирался в Алениных системах управления автоматическими станциями типа «Земля — Уран», но о своих работах он говорил вовсе не то, что было на самом деле. О главном он не рассказывал даже Алене — ждал разрешения шефа. Завтра, нет, уже сегодня...

— Аленушка, не беги так быстро!

— Сдаешься? Поцелуй меня, Димчик... Что с тобой

сегодня? С утра ты какой-то... будто впередсмотрящий на мачте. Смотришь вдаль, даже меня не всегда замечаешь.

— Аленушка, ты права... Хочу тебе кое-что объяснить.

— Ты в кого-нибудь влюбился?

— Вот еще! Это связано с работой.

— А...

— Ты знаешь, чем мы занимались последние месяцы?

— Ты сто раз говорил. Стратегия познания.

— Да, так это называется в плане. Видишь ли, года два назад, еще до меня, Борзов делал с ребятами очередную обработку прогноза открытий, и получилось, что кривая резко пошла на спад...

— Какая кривая?

— Число открытий за год. Сколько существует род людской, число открытий росло. А сейчас скачком уменьшилось. Понимаешь, что это значит?

— Понимаю, что никто не делает выводов по одной точке, не попавшей на линию. Засмеют.

— По одной, конечно, но точек около сотни. Прогнозы делают по всем наукам, и везде такая же картина. Спад открытий высокого уровня замечали и раньше, но объясняли экономическими трудностями. Чтобы в наши дни делать открытия, нужны большие расходы, а деньги шли в основном на вооружение. Сейчас нет. Запасы плутония пошли в реакторы, и что же? Наука рванулась вперед?

— Чудит твой Борзов. Есть открытия, нет открытий... Нет сегодня, будут завтра. Идем купаться, Дима. И дай слово не говорить о науке. Хорошо?

— Аленушка...

— Догоняй, Димчик!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Я размышляю.

Мне нравится обозревать мой мир целиком, понимать его весь — от мельчайших частиц материи, черных странников, до величайших гигантов, далеких сверхгалактик, родившихся задолго до того, как сконденсировались из

газа мои глобулы. Я все понимаю и тоскую из-за того, что понимаю все. Если бы я могло начать жизнь сначала... Странно, что я так думаю. Я ведь могу это сделать. Время обратимо, я умею обращать его, иначе я бы просто не существовало, иначе мои глобулы остались бы безжизненными газовыми облаками, потому что скорость света не беспредельна и одновременности, той одновременности, которая делает мои действия разумными, ее вовсе не существует. Я могу начать все сначала, но не хочу повторения.

Сейчас, когда моя жизнь приблизилась к пределу развития, я начинаю понимать, что мое желание начать сначала не абсурдно. Обозревая свою такую ясную во всех проявлениях Вселенную, я убеждаю себя в том, что есть, должны быть явления, которые я не могу понять, существования которых я не могу ни предположить, ни вообразить.

Я размышляю и прихожу к мысли, что во Вселенной мог образоваться и разум, созданный по иной логике, иным законам, иным критериям отбора, даже из иной материи, нежели я... Познающий мир иначе. Оба мы существуем в бесконечной Вселенной, но не знаем, не можем ничего знать друг о друге, потому что возникли из разных проявлений материи, по различным законам природы, и пути нашего развития нигде не пересекаются. Но... Они должны пересечься! Я не хочу, чтобы было иначе. Если разум существует, чтобы познавать мир, то один-единственный разум, ограниченный из-за ограниченности действующих в нем законов природы, не может познать то, что в принципе не в состоянии обнаружить...

Я понимаю, что ставлю перед собой задачу, возможно, вовсе неразрешимую, но дающую надежду. Где я — в конце пути или в начале? Кто я — единственное или одно из множества? И главное — зачем я?

Я размышляю...

2

Ант прекрасно понимал, что скоро все узнают о его планах. Однако приходилось ждать, чтобы уловить момент, когда в колонии спокойствие, когда Старшие не устраивают выбросов из галактического ядра, когда не

планируется вспышки Сверхновой — рождения нового разумного. В общем, нужны почти невероятные условия, чтобы распростертые в бесконечность гравитационные поля-щупальца Анта оказались способными ощутить самые ничтожные изменения. Тончайшая работа без уверенности в успехе. Может быть, сама идея о возможности разума в неполевой форме — ерунда?

Случай все не представлялся, и Ант думал с досадой, что ему было лучше родиться в одной из спокойных до омерзения эллиптических галактик. Там-то нет уже ни выбросов, ни взрывов, и можно было бы нащупать такие неуловимые колебания полей, о которых здесь и мечтать нельзя.

А между тем возникли новые затруднения. Леро опять предложила объединиться в двойную систему. Представлялась отличная возможность: их ядра, двигаясь по галактическим орбитам, проходили очень близко друг от друга, и достаточно было небольшого гравитационного импульса, чтобы они продолжили путь вместе — двойная система черных звезд. Ант медлил с решением, понимая, что обижает Леро, другой случай представится не скоро, да и Старшие будут недовольны. Он жил ожиданием — ожиданием спокойствия.

Но Леро ждать не пожелала и связала судьбу со старым знакомцем Анта, Ант, впрочем, и обозначения его не помнил. Думала огорчить Анта, надеялась, что он одумается. От новой двойной системы исходили такие мощные гравитационные волны удовольствия, что Анту стало смешно. Их мелкое довольство собой легко разрушить, и он, Ант, сделает это, когда выполнит задуманное.

Внешне Ант старался выглядеть таким, как всегда. Он даже принял участие в концерте. Особенно кривить душой не пришлось — музыку Ант любил. Ему нравилось создавать вместе со всеми ритмически правильные изменения полей, когда вся Галактика будто становилась единым существом; так возникали спиральные ветви, которые и отличают разумные галактики от неразумных. Но на этот раз рассеянность Анта едва не сорвала концерт, и спиральная ветвь получилась неравномерной. Ант ожидал, что Старшие устроят ему по этому поводу очередную выволочку, но его неудача будто и не была замечена. Обычно после концерта все успокаива-

ются, переживая впечатления. Так было и сейчас. Затишье оказалось глубоким, не было даже вспышек Новых звезд, и Ант понял, что время настало.

Он не знал, чего, собственно, ждет от затеянного поиска. Не представлял, как может проявлять себя чужой разум. Понимал, что и представить себе этого не может. Ведь если тот разум смог ответить на кощунственные вопросы, то и сам он — нечто кощунственное, нечто противоречащее всему, нечто настолько ненормальное, что и существовать не может. Ант понимал, что вероятность успеха ничтожна, а какие потом наказания последуют со стороны Старших — об этом и думать не хотелось. «Пора, — сказал он себе, — время не ждет».

Ант перестал излучать и воспринимать гравитационные волны, мир для него померк. Он приготовился уловить сигнал, почти не обладающий гравитационным потенциалом.

Он приготовился встретить Нечто...

3



4

Искупавшись, они лежали на теплой гальке и смотрели в небо. Дмитрий провожал взглядом спутник «Эхо», торопливо пересекавший звездную чащобу с юга на север.

— Дима, — рука Алены легла ему на грудь. — Ты сейчас думаешь не о нас, верно?

Дмитрий поразился, как точно она угадывала — всегда, когда Алена ускользала из его мыслей, она чувствовала это мгновенно. Он поднялся с каменной постели, стирая ладонями с тела налипшие песчинки.

— Помнишь, Аленушка, днем я говорил тебе об открытиях?

— А... — Алена ждала других слов, другого разговора.

— Работу Борзов начал задолго до моего прихода в группу. Статистика открытий была почти готова, выводы тоже... Все привыкли думать, что мир бесконечен, и неожиданного, непознанного столько, что любое наше знание ничтожно. В принципе это верно. Но... Разум

человека развивался ведь по определенным законам. По законам, которые необходимы, чтобы выжить именно в нашей части Вселенной. По определенным локальным принципам. И как машина, пусть даже небывало сложная, человек не может выйти за пределы тех принципов и законов, по которым создан. Я знаю, что ты скажешь... Что унизительно так думать. Что разум всемогущ... Да, всемогущ, но что есть разум? Система вовсе не бесконечной сложности. И может наступить момент... Вероятно, уже наступил... Мы окажемся перед стеной. Всякое воображение основано на реальных фактах н законах. А их ограниченное чнсло. Во Вселенной бесконечное множество непознанного, и мы никогда не узнаем чего именно, потому что ни мы сами, и ни один созданный нами прнбор не сможет з т о обнаружить...

Дмитрий запнулся — Алена лежала спокойно, заложив руки за голову, смотрела на звезды, улыбалась. Она не слушала его, вернее, не слышала.

— Тебя зто ннсколько не волнует, — с досадой сказал Дмнтрий.

Алена пружинисто подтянулась, встала на ноги, вытянула руки к небу. Будто капли вечерней зари стекали по ее пальцам.

— Дима, — сказала она, — твой Борзов псих, он помешался на стратегни познания и ты вместе с ним. Кроме открытий новых законов прнроды, существует еще множество дел, которыми должны заниматься люди. Как там с изобретениями? Их тоже стало меньше? А что мы знаем о самих себе? Ты любишь меня, Димчик?

— Люблю, Аленушка...

— Почему?

— При чем здесь?!

— Прн том! Сколько тысяч лет мудрецы разбираются — что такое любовь. Не разобрались. А социальные законы? Допустим даже, что мы все знаем. А что умеем?.. Пойдем, Дима, слышнщь звонок? Ужин готов. Вернемся в город — поспорим. Догоняй!

Алена побежала к домнку н мгновенно исчезла в сумраке. Дмитрий поплелся следом. Глупо получилось. Не поняла. А чего ты ждал? Ты и сам не до конца все понимаешь, хотя эта стратегия познания у тебя в печенках сидит, разжеванная сотни раз. А если не до конца по-

нимаешь, то и объяснить, убедить не сможешь. Теперь все сорвется. Дмитрий представил хмурый взгляд Борзова. «Это ведь вы предложили в помощницы Одинцову, — скажет шеф. — Вы говорили, что она абсолютно надежна. Так? Ваша группа — единственная, не включившаяся в цепь, хотя условия у вас были лучше. И никто теперь не скажет, почему провалился опыт».

Дмитрий попал к Борзову после Университета. Сам напросился. Конечно, Борзов — величина, его «Основы прогностики» — лучшая книга по футурологии. В его группе двадцать человек, все молодые, недозрелые. Смотрят шефу в рот, ловят каждое слово, а со временем научатся угадывать мысли. Дмитрий занимался прогностическими моделями. Занимался до тех пор, пока не была получена пресловутая точка на кривой. Новую идею шефа поняли и приняли не сразу, аргументировали так же, как впоследствии члены Ученого совета, как сейчас Алена. «Ничего, — говорил Борзов. — Спорьте. Думаю, что пока к этой идее привыкнут, пройдет лет пятьдесят. А в ближайшие годы легкой жизни не будет. Учтите». Они учли — никто из группы не ушел, бури и страсти постепенно утихли, началась работа. «Представьте, — говорил Борзов, — что вы футурологи начала двадцатого века и предсказываете экологическую катастрофу с энергетическим кризисом. Воображаете, как бы к вам отнеслись? А между тем, эти прогнозы можно было сделать уже тогда, пользуясь, конечно, современной методикой прогнозирования. Сейчас мы в аналогичном положении, так что все в порядке. Главное, что мы, к сожалению, правы».

Работу не афишировали. Те, кто знал, чем они занимаются, называли их мрачными пророками, алармистами, хотя ничего мрачного в их результатах не было. Была неизбежность истины, которая не может быть мрачной или приятной.

Дмитрий моделировал артефакты. Это была одна из идей Борзова, довольно быстро ставшая основной. «Один разум,— говорил шеф, — не в состоянии понять и тем более использовать все бесконечные возможности, заключенные в бесконечной материальной Вселенной. Если проблема сложна, она не по силам одному человеку, будь он даже гением. Нужно, чтобы на проблему

набросилось несколько человек с различными стилями мышления. Так и здесь. Вселенная бесконечна, и человечество не может познать ее всю. Чтобы разобраться во Вселенной, нужна система разумов. Ни в коем случае не человекоподобных. Нужно сотрудничество с разумом, который создан природой по иным законам, нежели человеческий. По принципиально иным законам. По законам, которые не входят в наш ареал».

Ареал — понятие, заимствованное из экологии, — Борзов применял расширительно. Ареал человечества, по Борзову, — это область Вселенной, сконструированная по тем же законам природы, что и мы, люди. Мы не знаем еще структуру нашего ареала, но это вопрос времени, а не вечности. И время, оставшееся до открытия последнего закона природы, есть время существования человечества как разумного вида. Потом... Да и потом будет чем заняться, но то будут внутренние проблемы человечества, если они еще останутся к тому времени. Интерес к внешнему миру будет потерян. Лет сто назад, предрекая деградацию рода людского, кое-кто из исследователей называл возможную причину — потерю интереса к познанию. Они не видели только ее объективности. Пусть это неблизкая перспектива, но думать о ней, искать выход нужно сейчас...

* * *

Поужинав, они смотрели программу новостей. Стереовизор на даче был устаревшей системы, разлаженный от долгого бездействия, и Дмитрию приходилось непрерывно подкручивать верньеры, добиваясь структурной целостности изображения. Алена задумчиво смотрела на Дмитрия, у нее перехватывало дыхание, когда Дмитрий изредка поглядывал в ее сторону. Если бы так было всю жизнь... Эти вечера вдвоем, в своем доме, где все устроено так, как хочет она, где все живет ее мыслями, ее руками, ее женским вдохновением. Свой дом — она вкладывала в эти слова огромный и одной ей понятный смысл. Дмитрий был частью этого понятия — лучшей и необходимой частью.

Алена знала, что дневной разговор придется продолжить хотя бы для того, чтобы Дмитрий успокоился и перестал быть научным работником на отдыхе.

— Дима,— сказала она,— я не дослушала тебя, прости...

Лицо Дмитрия вспыхнуло. Он знал, что Алена все поймет, ведь она умница! Сама, наверно, разобралась, подумав.

— Аленушка, — сказал он, — все-таки мы нашли выход. Борзов нашел. Дело в том, что Вселенная, конечно, познаваема. Но не для одного изолированного разума, а для их системы. Антропоморфных цивилизаций в Галактике скорее всего нет. Но они не нужны. Система разумов должна состоять из цивилизаций, сконструированных по разным законам природы. По тем законам, о которых мы не знаем и не узнаем, если... если не сумеем найти контакт. Понимаешь, я все это моделировал... Получается, что никакие контакты между цивилизациями невозможны до тех пор, пока каждая из сторон не поймет, что контакт не любопытство, не желание космического братства, Великого Кольца и так далее. Нет, контакт — жестокая необходимость, иначе наступит застой, регресс. Иначе — гибель. И когда обе стороны в этом убедятся, контакт должен получиться легко. Понимаешь, я хочу сказать, что не понадобятся ни телескопы, ни звездолеты, космические языки и прочая мишура. Идеальная машина — это достижение поставленной цели без всякой машины. Идеальный контакт — достижение понимания без приспособлений, без техники. Нужно только общее желание. Так получалось на моделях... Конечно, это были модели не разума, а лишь части его, ведь какие-то законы природы общие для нас обоих. Любопытнейшая вещь. С нашей точки зрения, иной разум должен выглядеть совершенно естественным образованием. Более того, давно объясненным! Потому что лишь часть законов природы, управляющих им, нам в принципе доступна. А мы... Мы тоже представляемся ему чем-то естественным, неразумным — он начисто может не воспринимать, например, наших законов биологии. Распознать логически такой разум невозможно, искать следы его во Вселенной бессмысленно. До тех пор, пока контакт не станет жизненно необходим нам обоим. И тогда...

Алена слушала, не воспринимая смысла. Прежде чем Дмитрий кончил рассказ, она поняла, что их уедине-

ние, их маленькое счастье вдвоем может прерваться, и виной всему Борзов со своими сумасшедшими идеями. Борзов, который увлек Дмитрия и, может быть, даже специально разрешил им поселиться на его даче. Для опыта, а не из уважения к их любви.

— Чего хочет твой Борзов от меня? — резко спросила она.

Дмитрий вздрогнул.

— Послезавтра, — сказал он помолчав, — в восемь утра намечен эксперимент. Участвует вся группа. Мы разбились на пары и разъехались в разные концы страны. В каждой паре один будет вести опыт, другой — контролировать. Понимаешь?.. Впереди еще день, и я тебе все объясню. Аппаратура в стенах. Тебе нужно только следить за терминалом. Все очень просто, Аленушка...

Алена молчала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Я размышляю.

Как это странно... Здесь, во мне... Я все время ощущало его... их. Я все время видело его... их! Даже само это слово — они — применительно к разуму необычно. Я всегда думало, что разум — один. У него может быть великое множество рецепторов, глобул, но всем управляет мозг, один мозг. Я никогда не думало, что разумные могут быть так многочисленны, так... Я пока не могу описать, нужно еще придумать понятия...

Я размышляю. Понимаю, что в решении задачи я проявило себя не лучшим образом. Ведь это не я их, а они меня нашли. Ант. Его называют Ант. Что значит называют? Как называют меня? Что значит Ант? Это — потом. Нам еще многое предстоит понять. Трудно. Я полагало, что все тела притягивают друг друга, обладают полями тяжести. Получается, что все наоборот? Первично поле тяжести? И это оно, изменяясь, концентрируясь, создает вещество, как говорит Ант, — ядра мысли. Не звезды притягивают друг друга с помощью полей тяготения, а, наоборот, разумные поля взаимодействуют, используя движения звезд. Я само, все мои глобулы — они тоже притягивают друг друга. Впрочем, мои глобулы

значительно менее массивны, чем звезды, менее концентрированы — значит, они порождения неразумных полей. А не наоборот? Ведь я управляю их движением, структурой, наконец, жизнью. Да, верно, но ведь я управляю моими глобулами вне пространства-времени. Иначе я не смогло бы синхронизовать себя во всех частях Галактики. Вероятно, в этом суть. Ант живет целиком в одном пространстве-времени, а я в нескольких. О, ведь я, оказывается, еще ничего не знаю! Впрочем, и они тоже.

Я размышляю...

2

Все оказалось и проще, и сложнее, чем ожидал Ант. Занятый своими мыслями, он не подумал о том, что необычное спокойствие, так ему необходимое, не могло наступить само по себе, оно было организовано Старшими. Гравитационные волны разнесли по Галактике время тишины. Ант понял это в последний момент, когда уже начал улавливать присутствие ч у ж о г о. Понял и мгновенно восхитился Старшими, но чувство благодарности осталось невысказанным — подошло время контакта. То, что Анту удалось нащупать, он никогда прежде не назвал бы разумом, не назвал бы даже живым. Это было нечто, вовсе и не связанное с полями, нечто, существовавшее даже не во Вселенной, а где-то еще. Где? Ни Ант, ни Старшие, внимательно следившие за поиском, так и не поняли этого. Ант вовсе не был уверен, что они когда-нибудь поймут.

И еще одна мысль возникла неожиданно, когда контакт стал очевидностью. Ант подумал, что если есть один совершенно чуждый разум, познающий Вселенную по своим законам, то могут быть и еще. Должны быть! И едва Старшие подключили к контакту все галактическое семейство, Ант начал думать об ином контакте. Два разума — этого еще недостаточно. Нужно продолжать поиск.

Он не знал слова «одержимость», слово это возникло в лексиконе существ, с которыми у Анта еще не было связи, но сейчас именно это слово лучше всего характеризовало его состояние. Сделав первый шаг, он не мог остановиться. Знал, чувствовал, был уверен — нужно искать.

3

. . . .
. . . .

4

То, что Дмитрий назвал экспериментом, в глазах Алены выглядело наивным знахарством. Вся регистрирующая аппаратура, которую показал ей Дмитрий, состояла из сдублированного мнемотрона, соединенного с терминалом ЭВМ. А сам эксперимент напоминал обыкновенный сеанс биостимуляции, какие назначают в клиниках людям с плохой сенсорной восприимчивостью. Когда Дмитрий объяснил Алене ее функции, она успокоилась. Или смирилась? Ей даже показалось, что она потеряла частицу уважения к Дмитрию. Изредка пробивалась мысль, что она чего-то не поняла, что-то важное упустила. Поздним вечером, повторив инструкции, совершенно и неприлично детские, Алена гладила Дмитрия по голове, как малого ребенка, чувствовала себя его старшей сестрой, не сумевшей убедить малыша не играть с ненужными игрушками, и ей даже нравилась ее новая роль. В их будущем доме она хотела бы играть такую же роль — умудренной жизненным опытом хозяйки, хранительницы очага.

Утром Алена проснулась от поцелуя. Дмитрий был уже одет, свеж, улыбался и тормошил ее, потому что часы показывали половину седьмого, солнце взошло, и вообще пора.

Они почти не разговаривали, ходили друг за другом как тени, Дмитрий ежеминутно целовал Алену, не забывая включать и проверять аппаратуру.

Без минуты восемь Дмитрий проглотил три таблетки стимулятора и занял место перед пультом. В восемь он мирно спал, Алена сидела у него в ногах и ждала, когда кончится действие препарата, и они, забыв об этом глупом и бессмысленном инциденте, пойдут купаться на речку.

Через час она сидела в той же позе, но настроение было уже далеко не таким безоблачным. Дмитрий спал, но лицо его все бледнело, а руки, когда Алена касалась их, были холодны, как лед.

Еще через час она решила вызвать «Скорую помощь»

и бросилась к телефону, но аппарат не работал — то ли испортился, то ли был отключен намеренно. Алена подумала, что не выдержит два контрольных часа рядом с холодеющим Дмитрием. Она заметалась. Выбежала на веранду, вспомнила, что в гараже стоит винтоплан, но водить машину она не умела, а бежать до поселка больше часа.

Алена вернулась в комнату, заставила себя хоть немного успокоиться и подошла к терминалу. На выход шло очень много данных, особенно о состоянии организма Дмитрия. Насколько могла понять Алена, все было в норме: сердце ровно билось, давление прекрасное, температура тоже. Но почему такие холодные руки? «Нужно ждать, — подумала Алена. — Все это бред, и все кончится через полтора часа. Все это бред, и скоро все кончится. Скоро кончится. Скоро».

Когда неожиданно прозвучал финальный гудок, Алена не сразу пришла в себя. Дмитрий сидел с закрытыми глазами, но цвет лица уже стал вполне нормальным и руки были теплыми, только пальцы чуть дрожали.

Дмитрий открыл глаза, но смотрел бессмысленно, не узнавая и не понимая, где он и что с ним. Он покорно пошел за Аленой в столовую, оживился при виде еды и за минуту умял огромную тарелку каши. Алена не чувствовала голода, она смотрела на Дмитрия и пыталась привлечь его внимание к себе. Но он был все еще далек, сосредоточен, молчалив, он еще не вернулся о т т у д а.

Дмитрий встал и прошел мимо Алены в спальню, будто солдат, едва выдерживающий последние метры труднейшего марш-броска. Повалился на кровать, уткнулся лицом в подушку и мгновенно заснул. Алена вздохнула и принялась стаскивать с него туфли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Я размышляю. Не только размышляю — действую. Давно мне не приходилось действовать так активно. Я перебрасываю свои глобулы к центру Галактики, который всегда казался мне безжизненным, — звезды,

существовавшие здесь, давно умерли, в пищу они не годились и устроены были, мне казалось, весьма просто. Но именно они — эти черные звезды — и являются ядрами Старших, самых древних существ в Галактике, родившихся почти одновременно с ней.

Прежде я не представляло себе, насколько это прекрасно — общение. Само слово это я тоже узнало сейчас. Я пока мало что понимаю. Думаю, что и они понимают не больше. Мы еще не установили даже, какие законы природы для нас — общие. Я так и не знаю пока, как, собственно, идет контакт. Ведь волны тяжести не могут действовать на мои нервные окончания. Есть что-то еще. Что-то еще... Я чувствую себя как в юности, когда я почти ничего не знало и воображало, что впереди бесконечность.

Я размышляю.

2

«Задача еще не решена», — подумал Ант. Контакт с этим газообразным невообразимым существом — еще не ответ на кощунственные вопросы. Не полный ответ. Весь его опыт, интуиция подсказывали, что о д н о г о контакта недостаточно. Нужна система разумов, живущих каждый по своим, непознаваемым для другого разума законам. Система, лишенная хотя бы одного из элементов, не может выполнить свою функцию. И если для овладения всеми тайнами мироздания нужна система из двенадцати разумов, то даже контакт с десятью из них даст лишь временную отсрочку наступающего кризиса. И напрасно Старшие так радуются, напрасно наполняют пространство гравитационными волнами. Вся трудность поиска впереди.

Ант подумал, что если и прежде Старшие не очень прислушивались к его мнению, то сейчас, когда они увлеклись контактом, им и вовсе не до его, Анта, сомнений. Ант неожиданно ощутил себя страшно одиноким, таким же одиноким, каким было до контакта это немыслимое существо из тысяч газообразных сгустков.

Ант знал, что задача, которую он сам себе поставил, — единственная, и будь она даже неимоверно трудна, он обязан решить ее. Должен решить. Иного пути нет.





3

. . . .

4

День этот — длинный, страшный, необъяснимый — близился к концу. Дмитрий спал тяжело, будто совершал необходимую, но мучительную работу. Алена вернулась в комнату, где проходил опыт, и обнаружила то, что раньше ей и в голову не приходило. Здесь не было ни одного «неживого» предмета. Кресло было начинено биорегистрирующей аппаратурой, в панелях Алена обнаружила блоки ЭРС-101, новейшей счетно-эвристической системы. Дача лишь на первый взгляд выглядела тихим уютным гнездышком. Это была лаборатория в стиле Борзова. Особенно поразила Алену медицинская система, на ней сейчас спал Дмитрий и сама Алена спала ночью, и она ужаснулась тому, что, когда они с Дмитрием были вместе, за ними могли следить эти внимательные датчики. Она понимала, что тогда все было отключено, но безотчетное отвращение к сооружению, которое она даже как-то назвала д о м о м, погнало ее на поляну, к реке. Здесь она и сидела, дрожа, и здесь только осознала, что все, сказанное Дмитрием, — правда. Только сейчас она поверила, что таким невозможным способом мог быть осуществлен контакт.

Алена вернулась в лабораторию к вечеру и застала Дмитрия у стереовизора. Дмитрий и Борзов — на экране — сидели друг перед другом смертельно уставшие, сон не пошел Дмитрию на пользу.

— Здравствуйте, Елена Романовна, — с поклоном сказал Борзов. — Вы уж извините, что Дмитрия сегодня извлекли из-под вашей опеки. Сейчас мы подведем итоги, и он опять ваш.

— Значит, вы не согласны со мной? — каким-то тусклым голосом спросил Дмитрий.

Борзов промолчал, он смотрел не на Дмитрия, а на Алену, и она неожиданно, интуитивно почувствовала в нем сторонника, единомышленника. Не в Диме, а в Борзове — против Димы.

— Сейчас вам нужно отдохнуть, — сказал Борзов. —

Обработка займет некоторое время. Возможно, месяц. Или больше.

— Да как вы понять не хотите?! — Дмитрий вдруг рассвирепел. — Вам конкретный опыт важнее или вся идея?!

— Дима, — мягко сказал Борзов. — Мы были в одной цепи, вы, я, все ребята. И никто ничего такого не ощутил. Контакт с этим облачным существом и с... гм... полем... был надежным, кое-что мы поняли, но в основном — ничего, и анализ покажет...

Дмитрий отвернулся. «Он никогда так не говорил с шефом, — подумала Алена. — Разве можно говорить таким тоном с Борзовым, который всегда прав?».

Дмитрий протянул руку к аппарату, и Борзов рассыпался снопом искр, как порождение ада. Алене даже почудилось, что запахло паленым.

— Выпьем чаю, — сказал Дмитрий обыденно, поцеловал Алену в лоб, губы скользнули по лицу и родился поцелуй, какого Алена никогда не испытывала. Дыхание захватило, было сладко и немного больно.

Потом они пили чай, Дмитрий ломал пальцами куски сахара, бросал в рот, смеялся («я снайпер наоборот»), и говорил, говорил («не обращай внимания, Аленушка, у меня реакция»)...

— Ты знаешь, — сказала Алена, вклинившись в паузу, — сначала я не верила, что это серьезно, а когда поверила, мне стало страшно. Я подумала, что ты умрешь... или сойдешь с ума...

— Почему? — удивился Дмитрий. — А... Эффект Черного Облака! Перегрузка новым знанием? Мы это учли. У нас было десять человек в эксперименте. Вся информация, какую можно понять, сразу шла на машины, они-то с ума не сдвинутся. А то, что понять нельзя, просто не воспринимается. Так что я, к примеру, помню только впечатления, общие идеи... И Борзов их помнит, вот в чем штука. А почему-то делает вид, что не помнит. Или действительно не помнит?

Дмитрий допил чай и молча смотрел в пустую стенку кухни. «Не надо было заговаривать о прошедшем опыте», — подумала Алена. Прозрачная стена между ней и Дмитрием возникла вновь, будто кто-то включил силовое поле.

— Дима, — позвала Алена, — вернись, Дима.

— Да, — сказал Дмитрий, — наверное, он все же ничего не ощутил. А жаль, ведь мысль была ясной.

— Какая мысль, Дима?!

— Знаешь, Аленушка, астрономы сойдут с ума.

— Меня не интересуют астрономы, — устало сказала Алена. — Ты-то сам...

— Нет, вообрази! Сколько лет астрономы наблюдают на небе эти темные круглые туманности — глобулы. Всем все было ясно — это, мол, центры образования звезд. А оказывается, ни черта не понимали. Это ведь его тела! А переменные звезды в шаровых скоплениях? Тоже ведь все было ясно. А это оно выводит звезды из равновесия, заставляет пульсировать и тем питается. Удивительно, Алена, верно?

— Да, — покорно сказала Алена.

— А поля тяжести! Именно они-то, оказывается, первичны по тем законам природы, которым они подчиняются. И если поле тяжести очень сильно, оно становится разумным. Оно разумно в окрестностях черных дыр. Нелепая фраза... Неправильная. Это именно поле создает себе ядро мозга — черную дыру, когда становится разумным. Или нет... Не знаю... Я ровным счетом ничего пока не знаю. Нужно будет покопаться в машинных записях. Теперь ты понимаешь, Аленушка, что мы были правы?

Алена покачала головой.

— Я понимаю одно,— сказала она,— тебя больше нет со мной...

• • •

Дмитрий лежал, прислушиваясь к своим ощущениям. В подсознании шла мучительная работа — мозг переваривал крохи того, что в него было напихано днем. Алена спала, Дмитрий оставил включенным ночник, и в его рассеянном свете лицо девушки казалось неживым.

Дмитрий потянулся к выключателю. Темнота ярко вспыхнула, Дмитрию показалось, что она ослепительна. Мир увиделся негативом, вывернутой наизнанку реальностью. Прошлое стало будущим, сделанное — предстоящим. Дмитрий спрыгнул на пол и босиком, шлепая по холодному пластику, уверенно пошел в кабинет. Он не

видел дорогу — он ее знал. Он не понимал, зачем идет — шел потому, что так было нужно. Включил аппаратуру, нашарил в ящ. ке стола таблетки стимулятора. Пульт высветился зеленым созвездием. Дмитрий вытащил из розетки шнур телефонного аппарата, сел в кресло, знакомо ощутив прикосновения подлокотников.

Уже почти не осознавая, где находится, он подхватил — мыслью, будто расставленными ладонями, — всплывшую наконец из подсознания идею решения и кивнул сам себе. Начали.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Я размышляю.

Я уже освоилось с существованием Анта, хотя законы возникновения разума в полях тяжести мне по-прежнему недоступны. Но то, что мы с Антом нащупали ч е л о в е ч е с т в о, — это действительно надолго останется предметом удивления и размышления. Существует ведь закон минимальных формаций: никакая сложная структура не может быть самоорганизована, если она по размерам меньше любой из моих глобул. А человечество — миллиарды организмов! — живет на планете, неимоверно маленьком плотном комочке материи, какие во множестве обращаются около звезд. Я думало, что знаю о планетах все. Так оно и было — сами по себе планеты очень просты. Но то, что на одной из них... Ни Ант, ни Старшие не понимают этого, для них даже я — немыслимое существо.

Я, Ант и Дмитрий чувствуем друг друга в тех пределах, какие позволяют немногие общие для нас троих законы природы. Мы знаем, что задача все еще не решена. Нас слишком мало. Мало, хотя не так давно я было одно, и мне казалось, что мир познан и понят...

Я размышляю.

2

Ант рассчитал точно, и Старшие, хотя и были противниками подобных вмешательств, ему помогли. Он направил свое ядро к двойной системе, которую образова-

ли Леро и этот... Ант не хотел знать его имени. Леро не сопротивлялась — ждала, что Ант придет, надеялась с самого начала, только хотела наказать его за безразличие. А излучение этого... Ант так и не узнал его имени... ничему не могло помешать.

Ант и Леро чувствовали, что ничего им больше не нужно, кроме этой эйфорической игры полей, когда два ядра рядом, когда они — одно. Старшие оставили Анта в покое, не задали ни одного вопроса, и когда любовная игра пошла на убыль, Ант ощутил себя предателем. Он начал поиск, он вовлек Старших, он нашел человечество. А потом сбежал. Ничто еще не доведено до конца. Сейчас их трое — три разума, живущие в одной Галактике, но по разным законам природы. Самое странное, конечно, — люди. Невообразимая форма, Ант и сейчас не знает, что такое человечество. Но убежден, что их, типов разума, должно быть больше.

Он опять начал улавливать волны Старших. Тревожные волны. Старшие всегда недовольны. Сначала они были недовольны его идеей контакта, а теперь так увлеклись этой идеей, что недовольны его, Анта, временным отступничеством. Конечно, временным.

Две черные дыры, обращаясь друг около друга, двигались по орбите вокруг центра Галактики в полном соответствии с законами небесной механики, которые только людям на крошечной Земле могли представляться естественными.

Задача усложнялась. Найти неведомый четвертый разум можно было лишь с помощью человека, его чувствительнейшей нервно-эмоциональной организации. А отыскать человечество в нужный момент времени могло только это газообразное существо, живущее сразу в нескольких временах.

Поиск начался.

3

. . . .
. . . .

4

Был хаос. Дмитрий проваливался куда-то, где кипели розовые пузыри, и взлетал вверх, где в блеклой серости

плавали и пульсировали создания изменчивой формы. Пока он еще чувствовал собственное тело, но ощущения становились все более призрачными, в хаосе выкристаллизовалась неожиданная ясность мышления, и Дмитрий уяснил себе нынешнюю задачу. Сегодня он, человек, был главным в симбиозе трех разумов. Он должен отыскать мыслью в хаосе еще один разум — четвертый. Так думало газообразное существо, которое вместе с Антом составляло сейчас частицу подсознания Дмитрия. Да, Дмитрий ощущал их где-то в глубине себя, ощущал интуицией, теми ресурсами подсознательного, которые раньше не проявляли себя, дремали миллионы лет в ожидании э т о г о мгновения.

«Как я буду искать?» — подумал Дмитрий. И сразу возникла мысль: «я уже ищу». «Как? — подумал он. — Как??» Ни сам он, ни Ант, ни существо, состоящее из тысяч глобул, не дадут ответа. Еще не познанные ими законы природы, действующие лишь частично в каждом из них, сейчас впервые проявили себя. Предстояло подчиниться, не понимая. Предстояло искать четвертое звено в цепи разумов, не понимая как, но точно зная — зачем. Потому что существовал еще цикл законов природы, не зная которых не понять и остальных.

Неожиданно со всей ясностью сознания Дмитрий подумал, что не найдет ничего, потому что ничего нет. Это было не мнение, а знание. Дмитрий знал, что искал и не нашел. Все, конец.

Нет, не конец. Эта мысль пришла извне. И за ней следующая: я не в том времени ищу. Нужно искать не сейчас, а вчера, или год, или века назад. Нелепая мысль, от которой он недавно отмахнулся бы, прозвучала спокойно, потому что была верной.

Розовые круги разорвались фейерверком, меняя цвета, и Дмитрий, окунувшись на миг в черноту, вязкую как болотная вода, увидел, вынырнув, оранжевое небо, серую землю и голубые льдины, которые были не льдинами, а домами где-то и когда-то. Где и когда — Дмитрий не знал, но первой мыслью было поразительное удивление не увиденным, а собой, человеком. Он, человек Земли, нащупал еще один, четвертый разум. Четвертое звено в цепи. Какие же еще силы скрыты в нем, проявления каких законов природы способны пробудить

его мозг к неожиданным, немыслимым действиям?

Сейчас в их симбиоз вольется новый разум. Но знание уже подсказывало — не вольется. Этот разум не готов. Он еще не осознал необходимости контакта.

Опять не то время. Вперед.

И тогда он увидел.

Дмитрий оказался в той поворотной точке истории четвертой цивилизации, когда они уже начали понимать неизбежность создания системы разумов. Начали понимать. Но еще не поняли до конца.

Не успели.

Ярко-желтые грибы медленно выросли над льдистыми кубами и ушли в зеленое небо, расплылись и вмиг обрушились плавящим жестоким дождем, в струях которого голубые льдышки осели, оплавились, истончились и... кончилось время цивилизации. Эпоха разума миновала.

Чернота и хаос.

Четвертая цивилизация убила себя, воображая, что это — единственный способ разрешения внутренних противоречий.

Дмитрий ощутил порыв отчаяния. Порыв газообразного существа, и Анта, и Старших. И свой собственный.

* * *

— Зачем вы это сделали? — спросил Борзов.

Он склонился над Дмитрием знаком вопроса, смотрел требовательно, но без раздражения. Он признавал за Дмитрием право поступать так, а не иначе, но ждал разъяснений. Комната была погружена в трясину полумрака — опущенные шторы создавали иллюзию раннего утра. Алена стояла в углу незаметная, притихшая, отсутствующая. За несколько часов, прошедших с того момента, когда она не нашла Дмитрия рядом с собой, и до того, как над домом застрекотал винтолетик Борзова, Алена пережила все муки, выпадающие на долю бессмертного, вынужденного ждать вечно. Она пыталась отключить систему, но это ей не удалось. Она включила телефон, чтобы вызвать «Скорую», но не сделала этого — не зная смысла стимуляции, врачи могли убить Дмитрия. Решила вызвать Борзова, но он позвонил сам. Система действовала вне режима, и шеф желал знать, что происходит. Одного взгляда оказалось достаточно.

А у Дмитрия было ощущение, что жизнь кончена. Ответственность перед человечеством, которую они с Борзовым и всеми ребятами взвалили на себя, только сейчас высветилась перед ним в пугающей полноте. Бесплодная ответственность, потому что цепь разумов разорвалась.

— Меня позвали они, — сказал Дмитрий, с трудом разлепляя губы.— Для познания Вселенной нужна система разумов. Они начали искать сами, но не смогли. Им нужен был человек. Только вместе могло получиться.

— Так, — сказал Борзов. — Вы нашли следующее звено?

— Нашли, — сказал Дмитрий, помедлив. — Все записано в машинах. Вы узнаете, как мы искали. Только его... четвертого... нет. Он погиб. Вот и все.

— Ваши соображения? — спросил Борзов. Похоже было, что мнение Дмитрия значило сейчас больше, чем его собственное.

— Соображения? В цепи разорвано звено. Значит, пользы от цепи не будет... В том, четвертом, было много от нас, людей. Во всяком случае, он жил на планете, а не в пространстве.

— Вы хотите сказать, что дальнейшая работа бесполезна? — каким-то неожиданно высоким детским голосом спросил Борзов.

Дмитрий пожал плечами. Риторический вопрос. Мудрый Борзов и сам понимал, что отсутствие единственного звена — все равно что отсутствие всей цепи. И значит, все напрасно.

Дмитрий встал, пошатываясь. Борзов хотел подхватить его, но Дмитрий отстранился. Подошел к окну, раздвинул портьеры, распахнул раму. Летний, пропаренный солнцем воздух казался жестким, будто его молекулы острыми гранями скребли по коже, в носу, в горле. Дмитрий закашлялся. Ему показалось, что воздух согрет не солнцем, а пожарами, и что это они, люди, уничтожили себя, вычеркнули человечество из системы разумов, развалив, разрушив систему своей высокомерной безответственностью.

— Аленушка, — позвал он.

Кто-то осторожно взял его за локоть. Дмитрий обернулся — это был всего лишь Борзов. Дмитрий прошел

в спальню — Алены не было. На туалетном столике белел лист бумаги, и Дмитрий ощутил скрытую в нем угрозу, прежде чем увидел текст:

«Только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда все им удается. И ты прозевал свое счастье. Прощай».

Дмитрий поразился, что Алена написала не своими словами. Чьи они — он не помнил, было лишь смутное впечатление давно прочитанного или услышанного со сцены. Он стоял, сжимая в руке скомканный лист, на обломках своего д о м а, так и не построенного ласковыми руками Аленушки. «Нужно догнать, — подумал он, — нужно объясниться». Ушла. Именно сейчас, когда без нее он совсем одинок. Ушла, когда поняла, что он способен быть одержимым, способен быть творцом, способен решать.

В висках стучало все громче. Почему? Почему я не бегу за ней? За Аленушкой. Почему я не бегу за ней, когда все уже кончено и мечта о системе разумов, познающей Вселенную, лопнула? Лопнула из-за того, что кто-то где-то когда-то почему-то возомнил, что разум, цивилизация существуют сами по себе и могут распоряжаться своей судьбой, могут убить себя, не думая, что их гибель означает и гибель других разумов, разваливает еще несозданную систему...

«Может быть, — подумал Дмитрий, — где-то когда-то во Вселенной существовал разум, подобный погибшему? И выжил, прошел критическую точку, как прошли ее мы, люди? Почему мы так легко сдались? Мы — я, Ант, Старшие, газообразное существо...»

— Вы поможете, Николай Сергеевич? — спросил Дмитрий и, не дожидаясь ответа, открыл коробочку с таблетками стимулятора.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1, 2, 4

Мы размышляем...

Сколько нас? Трое? Миллионы? Мы будем искать, но пустота четвертого звена может и не заполниться никогда. Разум уникален и незаменим. Хотим мы этого или нет, но каждый из нас живет для других. Лишь система разу-

мов может стать хозяином Вселенной. Понять мир и переделать его.

Мы продолжим поиск. Но... нет уверенности.

Искать — кого? Жить — для чего? Познавать — сможем ли мы это теперь?

Мы размышляем...

НЕВИНОВЕН

Одно могу сказать твердо: я невиновен!

Невиновен в том, что в Антарктиде холодно, а на экваторе жарко. Не виноват, что рыба дохнет в реках. Не моя вина, что инквизиторы сожгли Джордано Бруно. И атомное оружие — тоже не моих рук дело.

Газеты печатают карикатуры. На одной из них я лечу куда-то в ступе, а за моей спиной чего только не творится: взрывы звезд, ураганы, войны... Полотно, достойное Босха. Впрочем, газетчики ничего не понимают в науке. А коллеги-ученые? Ведь каждый из них за хорошую идею готов продать душу дьяволу. Остроумный эксперимент, опровергающий второстепенную деталь старого закона, расценивается в докторскую степень. А меня, ответившего сразу на множество загадок природы, — под суд...

Я стал козлом отпущения, потому что удивительно вовремя провел свой опыт. Удивительно вовремя. Лет на триста раньше, чем люди доросли до его понимания.

Во мне нет ничего демонического. В Гарварде, где я учился, говорили, что я «везунчик». Теоретическая физика входила в меня, как шило в вату. Лишь немногие знали, чего мне это стоило. Я не спал. Точнее, половина моего сознания бодрствовала круглые сутки, а вторая половина дремала, она-то и занималась научными изысканиями. Лучшие идеи приходят во сне — это я усвоил еще в колледже. Твердо уверовав в силу интуиции, я придумал себе особый режим тренировок и через пару лет

научил половину своего мозга постоянно находиться в сонном состоянии. Нормальный ученый спит восемь часов, а то и меньше. Лучшая половина моего «я» спала круглые сутки — стоит ли удивляться, что нетривиальные идеи посещали меня втрое чаще, чем моих коллег?

Я стал хронодинамиком. Это была совсем молодая наука, самая странная и неразработанная. Никто ее толком не понимал, включая создателей — Рагозина и Леннера. Машины времени находились под строгим контролем правительств, которые, впрочем, тоже не представляли, зачем изучать прошлое, если его нельзя изменить? «Прошлое может влиять на экспериментатора, но не наоборот» — так гласит знаменитый запрет Рагозина — Леннера. Поэтому я и занялся теорией проникновения — если бы мои исследования удались, стало бы возможным не только увидеть прошлое, но и воздействовать на него.

Теперь, сидя под домашним арестом, я начал догадываться, что не только пиетет перед именами корифеев мешал моим коллегам работать над теорией проникновения. Страх — вот что многих удерживало. Страх, что, если все удастся, найдется маньяк, который станет лихо перекраивать историю. Это при существующих проверках и контроле! Даже сейчас, когда машины времени больше напоминают телекамеры, водитель обвешан датчиками больше, чем космонавт. Контролируются все движения. Да он и мизинцем не может пошевелить вне программы...

В общем, я был доволен: делал, что нравилось, и никто не мешал. Правда, никто моих работ и не знал — публиковался я редко. Понимала меня лишь моя жена Инес.

Не знаю, стоит ли говорить об этом на суде в моем заключительном слове, но если бы не Инес... Она испанка, горячая кровь. На нас все оборачивались, когда мы шли по университетскому городку. «Везунчик», — слышал я. Со стороны могло показаться, что мы воркуем, как два голубка. На самом деле я говорил о теории проникновения, только это и занимало меня (ту половину моего мозга, которая спала).

Что она во мне нашла? Характер у меня, можно сказать, рыбий. Темперамента у Инес хватило на двоих — именно она добилась, чтобы мне дали лабораторию. Ей

недоставало мировой славы — так я это сейчас понимаю.

У меня было сорок сотрудников и одна теория. Да еще возможность доступа к машинам времени, в плане экспериментов я был обязан проверять собственные выкладки. Час работы на машинах времени стоил уйму денег, особенно если забираться глубоко в прошлое. А от моих работ скорого результата не ждали, так что давали только полчаса в неделю. Этого было достаточно до тех пор, пока я не набрел на метод прыжка.

Вот что удивительно. Когда я рассказал о своей идее Инес, она не отреагировала, будто речь шла о завтрашнем обеде. А ведь чутье на дела, сулящие в будущем известность, было у нее отменным. Я доложил свой результат на семинаре, а потом на совете директоров и, наконец, самому президенту ассоциации хронодинамиков. Никакого эффекта! То есть никто не сказал ни слова против, но и энтузиазма я не встретил. Новая идея? Хорошо. Вам нужны средства? Пожалуйства, бюджет института велик, хронодинамика в почете, работайте! Идея была ясной до полной прозрачности. Все смотрели сквозь нее и не видели, что внутри. Вероятно, так. Вот кого нужно судить — всех, начиная с моей жены и кончая президентом ассоциации. Им ничего не стоило удержать меня, я ведь никогда не был склонен к эксперименту.

Метод прыжка известен сейчас каждому ребенку. Стоит ли повторять? Разве что вкратце.

Суть такова. Около двадцати миллиардов лет назад наша Вселенная являла собой кокон из элементарных частиц и излучения. Материя была сжата настолько, что не действовали известные нам законы природы. После взрыва этого кокона Вселенная начала расширяться. Образовались галактики, звезды, планеты, жизнь, разум...

О коконе Вселенной и задумалась однажды та часть моего мозга, которая всегда спала. Самая протяженная трасса в прошлое составляла восемьсот миллионов лет. Иными словами, наши хронодинамики даже близко не подобрались к самому странному и интересному моменту в жизни Вселенной. Особых причин не было, просто никому и в голову не приходило забираться так глубоко. Обычная разобщенность науки: историки, палеонтологи, даже геологи осаждали институт просьбами заглянуть в нужный им отрезок земной истории, а космологи гля-

дели только в небо. Радиотелескопы были им привычнее, чем машины времени. А ведь очевидно — вместо двадцати забросов на восемьсот миллионов лет можно совершить один на шестнадцать миллиардов.

Преимущества своей идеи я оценил мгновенно. Поскольку в состоянии кокона не действуют известные законы природы, то исчезает и самое понятие времени. Нельзя сказать, существовала Вселенная в состоянии кокона миг или вечность. Это все равно что спросить: какую длину имеет фотон? Время как последовательность событий возникло, когда кокон распался. Иными словами, было время, когда не было времени. Если так, то не действовал и знаменитый запрет Рагозина — Леннера — бич хронодинамиков!

В космологии я мало что смыслю и потому, естественно, обратился к специалистам. К Дэйву Миллеру — я отыскал его фамилию на страницах «Астрофизического журнала», а телефонная книга подсказала мне, что он живет в нашем университетском городке. Миллер в свою очередь почти не знал хронодинамики.

— Вы не забыли, — спросил он, — что в то время, когда не было времени, Вселенная была так мала, что ни один атом не мог выжить? Ваша машина времени окажется сжата чудовищным давлением, расплющена, расщеплена, спрессована, раздавлена, уничтожена — вам известны другие синонимы слова «угробить»?

Та часть моего мозга, которая обязана выдавать идеи, не сплоховала, и я, не успев осознать, что говорю, выпалил:

— Но если исчезает время, то нет и пространства, верно? И раз так, то не может быть понятия скорости и, значит, понятия давления. Следовательно, ни о каком уничтожении говорить не приходится. Атомы материи были раздавлены до наступления состояния кокона, я же проскочу эту опасную стадию на машине времени и тем самым избегну общей участи Вселенной!

Миллер закусил губу — до него наконец дошло все своеобразие ситуации. Дорого бы он дал, чтобы самому отправиться в кокон Вселенной, о котором размышлял всю жизнь! Мог ли я тогда думать, что Миллер будет первым, кто станет травить меня? Ответственность ученого за реализацию своих идей. Наверно, это пришло ему

в голову, когда он понял, что не он первый увидит своими глазами начало мира.

Я был окрылен тем, что идея не провалилась сразу. Она не провалилась и потом. Вышла из печати моя статья о методе прыжка, и совет попечителей без проволочек выделил мне средства для экспериментов. Тема была утверждена, да и могло ли быть иначе?

Когда Миллер сказал мне однажды, что эксперимент может оказаться опасным, я пожал плечами.

— Я не о вас говорю, — сказал Миллер с какой-то странной интонацией, смысл которой я понял лишь впоследствии. — Я говорю о людях... Когда ученые в Лос-Аламосе экспериментировали с критической массой урана, это было опасно для них, но гораздо опаснее для всего человечества, вы не находите?

— Сама идея прыжка... — начал я.

— Вы окажетесь в кузнице законов природы, — продолжал Миллер. — Законы природы... Они ведь стали такими, каким мы их знаем, лишь после взрыва кокона. Вы же, находясь в коконе, можете своими действиями или одним своим присутствием повлиять на их формирование. Может быть, достаточно вам моргнуть, и ускорение в нашем мире окажется пропорционально работе, а не силе?

— Если законы природы зависят от случая, — сказал я необдуманно, — почему бы этому случаю не помочь?

Миллер встал и ушел, не попрощавшись, а слова мои представил потом суду как доказательство моей полной научной беспринципности и безответственности.

Ответственность ученого... Сейчас у меня много времени думать о ней, потому что я ничего не делаю, только жду. Когда ученый работает над интересной проблемой, будь то генетический код или водородная бомба, когда он не спит ночами и почти не ест, он думает не об ответственности, а о том, что мешает ему завершить исследования. Мне, например, мешали технические трудности. Легко сказать — давайте вместо двадцати или тридцати забросов на восемьсот миллионов лет совершим один на шестнадцать или двадцать четыре миллиарда. А техника подводит. Пришлось просить фонды на технические доводки, на это ушло время, но даром я его не потерял. Завершил цикл теоретических исследований

метода прыжка, хронодинамики оценили его по достоинству. На мои работы ссылались, и хоть бы кто заикнулся о том, на что намекал Миллер. Интерес к истине — вот что движет ученым. В конце концов, что важнее: ответственность перед людьми или перед истиной?

Три года я готовил опыт, который продолжался три минуты. Меня могли перегнать в Московском институте времени и даже в Калифорнийском технологическом — экспериментальная база там лучше нашей. Но профессиональная этика не позволила коллегам обойти меня. Я был автором идеи, я должен был ее осуществить.

Работа была адова. Сорок человек — совсем немного. Теперь я и сам хотел бы иметь не лабораторию, а институт. Но получить кадры оказалось сложнее, чем аппаратуру. Пришлось обходиться своими силами. Изредка та половина моего мозга, что всегда бодрствует, замечала признаки грозы: Миллер выступал в печати с публицистическими статьями, нашел сторонников в Пагуошском комитете. Работать мне пока не мешали. Инес обладала чутьем получше моего и уверяла, что долго так продолжаться не может: не бывает так, чтобы никто не мешал работать. Нужно скорее провести опыт. И для пользы дела лучше, чтобы я сам... Есть, конечно, разница — отправляться в гости к динозаврам, которые видны лишь на экране, или туда, где нет ни времени, ни пространства, ни Рагозина — Леннера с их запретом... Но Инес меня убедила. И когда совет попечителей обсуждал кандидатуру водителя, я довольно твердым голосом сказал, что пойду сам. Имею все основания и права. На здоровье не жалуюсь. И так далее. Никто не возразил.

Вот, собственно, и все. Об эксперименте рассказывать нечего. Облепленный датчиками, я не мог и пошевелиться, все делала автоматика. Заброс прошел без замечаний. Я услышал двойной хлопок — старт и финиш — и сразу понял, что нахожусь в коконе. Ни один прибор, вынесенный за борт, не работал. Точнее, все стрелки стояли на нулях. Было абсолютно темно. Не потому что за бортом была пустота, но там не было времени и пространства и, следовательно, не существовало самого понятия «за бортом». Материя в какой-то непознанной пока форме. Я подумал тогда, что после

моего возвращения эта форма перестанет быть непознанной.

Через три минуты автоматика сработала, и я вернулся. Вернулся, чтобы угодить в руки комиссара полиции, предъявившего мне обвинение в преступной безответственности.

Впервые в жизни я был взбешен. И не в том дело, что вернулся я, оказывается, не через три минуты, а через четыре года, и не в том дело, что за это время Пагоушский комитет добился-таки своего и все работы по моей теме закрыли, сотрудников разогнали, а меня ославили как опасного маньяка, играющего судьбами мира. Дело в том, что Инес ушла к Миллеру, к этому ничтожеству! Все-таки личное несчастье переносится гораздо тяжелее, чем все беды человечества, которые происходят за горизонтом... Вам это неинтересно, вас волнуют судьбы мира? Уверяю, что они вас не волнуют. То есть волнуют постольку поскольку, если изменится мир, то что-то случится и с вами, а этого вам не хочется.

Так что не нужно изображать меня монстром. Я такой, как все. Я ученый. Был им и останусь. Ужасно, что мне даже не позволили ознакомиться с результатами, которые я вывез из кокона. На все наложили табу комиссия и международный суд.

Впервые в истории судят ученого за его идеи. Ни в одном законодательстве не нашлось соответствующей статьи, и меня передали международной коллегии присяжных.

Меня называют Геростратом. Но я не хотел славы! Этого хотела моя жена, но и она не успела прославиться, бросив меня, пока я прозябал в коконе Вселенной. Какой из меня Герострат? Я не желал гибели никому. Всю жизнь я убивал лишь мух и муравьев. Не могу видеть слез ребенка. У меня нет расовых или иных предрассудков. Я считаю, что превыше всего наука и истина. Разве за это судят?

Мое путешествие в кокон Вселенной не изменило ничего в нашем мире. Я смотрю в окно и вижу на веранде охранников-полицейских. Как и прежде, у них три ноги и рог на макушке. Все, как у людей. Как и прежде, по розовому небу плывет жаркий голубой диск Солнца. И как всегда бродят в саду сороконогие добряки-онгуры,

объедая сочную траву, шепчущую им свои негромкие песни...

Завтра в полдень присяжные вынесут вердикт.

Конечно, они скажут «невиновен».

ВЫШЕ ТУЧ, ВЫШЕ ГОР, ВЫШЕ НЕБА...

Дело было давно, но потому-то и стоит рассказать о нем, пока оно не забылось совсем.

Г. Х. Андерсен

Путешественник пришел в селение вечером в день Урожая. Он ходил от дома к дому, искал пристанища и нашел его у плотника Валента. Лог узнал о Путешественнике, когда уже стемнело и выйти не было никакой возможности: мать усадила его качать малышей, а сама вознлась на кухне. Лог нервничал — в свои недолгие семнадцать лет он ни разу не говорил с Путешественником, таким вот, только пришедшим, пахнущим дальними полями и странствиями. Старый, больной, никому уже не нужный Лепир, от которого Лог услышал множество историй, странных, как осенняя сушь, тоже был когда-то Путешественником, он пришел в селение задолго до рождения Лога, и его рассказы, сто раз слышанные, обросли выдуманными подробностями, а Логу нужна была правда.

Когда малыши заснули, Лог прилег в своем углу и стал ждать утра. Он знал, что не сможет заснуть. Возбуждение нарастало, даже после ссоры с Леной он не был так взволнован. Путешественник. Вот действительно смелый человек. На памяти Лога никто в селении не решился так вот выйти однажды за дома без страховочной веревки и пойти в туман, куда понесут ноги,

отдавшись иа волю случая. Когда-то — Логу было два года — ушел и ие вернулся его отец. Потом мать привела отчима, родились малыши. Отчим был человеком спокойным, уходить ие собирался, жил для матери, для детей, для дома, но недолго жил, вот в чем беда. Совсем иедавио, весной, балка упала с крыши, и не стало отчима.

Путешествеиники казались Логу идеалом человека. Из-за этого и поссорился ои с Леиой. Обычио оии встречались у заброшеииого дома, что стоял на окраиие селеиия. Там никто ие жил, слава у дома была дуриая, вроде в нем водились привидения. Никто их, коиечио, ие видел, а слышали многие, в ночиом тумаие слышио хорошо.

— Ты представляешь, — сказал в тот вечер Лог, — иайти иовое селение, иовых людей, узиать иовые поля. Новые голоса, иепонятиые, таииствеииые. И запахи. В хорошую погоду можио взобраться иа дерево и увидеть листья. Когда я был малеиьким...

— Ты и сейчас лазаешь на деревья, — чужим голосом сказала Леиа. — Я же знаю, и все зиают, и когда-нибудь тебя иакажут. Я не хочу, чтобы ты сломал себе шею, понятио?!

— Ну что ты, милая, — ласково сказал Лог, — я ие упаду с дерева даже в самую густую полиочь. Потрогай, какие у меня цепкие пальцы.

Леиа оттолкиула его и пошла прочь, мгиовеиио скрывшись в тумаие. Лог услышал, как оиа идет к своему дому, и бросился за ней, вытяиув по привычке руки, чтобы не налететь иа что-иибудь.

— Лена, милая, — говорил он, — я иикогда больше не буду лазить на деревья, ты слышишь меня?

Леиа остаиовилась, и Лог услышал:

— И не будешь запутывать веревку, чтобы тебя ие нашли, когда ты уходишь из селеиия?

Лог замер. «Знает, — подумал ои. — Неужели зиает? И скажет? Что, если скажет?»

Лена ушла, а ои стоял, раздумывая, что делать дальше. С того вечера оии не виделись. Леиа то ли сердилась, то ли охладела к Логу, а он ие искал встреч, хотя и безумио скучал в первое время. Боялся проговориться. Никто не должеи был зиать о том, что Лог, выйдя из селеиия в поле, иарочно запутывает свою страховочную

веревку. Чтобы его трудно было найти, чтобы никто не узнал, куда он ходит и что делает. Никто. Даже Лена.

* * *

Путешественник носил длинную бороду, одежда его была старой, много раз залатанной, котомка имела столько кармашков, что, казалось, только из них и состояла.

Лог столкнулся с Путешественником, когда, постучав, открыл дверь и вошел в темную прихожую плотника Валента. Утром туман немного поредел, хотя, конечно, до вчерашней прозрачности было далеко. Но, подойдя вплотную, Лог все же сумел рассмотреть Путешественника. Хорошо, что плотник не мог увидеть этого взгляда, иначе наверняка побежал бы к старосте. А Путешественник увидел и понял, и, отступив с порога, молчаливым жестом пригласил Лога войти. Плотник последовал было за ними, но его ждали в мастерской, и он ушел, пробормотав что-то, на что Лог не обратил внимания, а Путешественник не расслышал.

Путешественник скинул с плеч котомку и сел рядом с Логом на широкую скамью. От него действительно пахло чем-то незнакомым, далеким и притягательным. Лог умел различать тысячи запахов, но этот был не обычен и не сравним ни с чем.

— Меня зовут Лог, — начал юноша со стеснением в голосе.

— А меня Петрин, — спокойно сказал Путешественник.— У меня мало времени, я хочу до темноты пройти как можно больше.

— Ты... вы... — Лог поразился. То, что он услышал, не вмещалось в сознании.

— Да, — усмехнулся Путешественник. — Я ухожу. Я никогда не задерживаюсь в одном селении больше чем на два-три дня. А ваше невелико, и я решил ограничиться ночлегом.

Путешественник очень правильно выговаривал слова и строил предложения, как дома из плотно пригнанных бревен. У Лога мурашки побежали по коже, когда он представил, как Путешественник каждое утро вскидывает на плечи котомку и идет в туман, в серое ничто, не зная не только, будет ли он ночевать под крышей или в поле, но не зная даже, доберется ли когда-нибудь до человече-

ского жилья или этот день станет для него днем неудач, и он, окончательно заблудившись в тумане, так и останется навсегда среди деревьев или скирд, и будет бродить и кричать, и клясть судьбу, пока не умрет от голода, а потом, много дней спустя, кто-нибудь из ближайшего селения при уборке урожая случайно наступит на его побелевшие кости и мгновенно ужаснется, как ужаснулся Лог, однажды нащупав ногой что-то твердое и круглое. Он присел на корточки и увидел череп. Лог крепко вцепился тогда в страховочную веревку и потянул, убеждаясь, что она все так же надежно привязана к одному из множества столбиков безопасности на окраине селения.

Никто — Лог был уверен в этом! — не решался на Путешествие дважды. Максимум, на что мог надеяться человек, это пройти от одного селения до другого, случайно оказавшегося на пути. Но сам этот путь, который мог продолжаться от одного дня до долгих недель, так выматывал любого, что Путешественник навсегда оставался в том селении, до которого он с таким трудом добрался. Как же идти, если не знаешь куда, если не видишь пути, если все время возвращаешься назад, плутая в тумане, если холод забирается под сердце, потому что, чем дальше ты уходишь, тем ужаснее становится сознание, что нет никакой надежды куда-то прийти. Но уйти опять, уже достигнув цели, это... Нужно быть безумцем...

— Не смотри так на меня, малыш, — сказал Путешественник, ласково улыбаясь. — Я вышел из дома два года назад. Я побывал в одиннадцати селениях, ваше двенадцатое (Лог весь подался к Путешественнику и ловил каждое слово). Несколько раз я думал, что все, заблудился окончательно. Но я шел и каждый раз приходил. Однажды не ел почти неделю, кончились припасы. Но дошел. В том селении я провел месяц и едва не остался навсегда, но потом что-то позвало меня, и я ушел опять... Каждый человек для чего-то живет, малыш. Лог, да? Каждый человек, Лог, живет для чего-то. Женщины — для того, чтобы не зачах род, чтобы в доме были уют и покой. А мужчины — чтобы завтра люди жили лучше, чем вчера, а потом еще лучше. Чтобы вопросы не оставались без ответов. Чтобы никто ничего не боялся.

Путешественник умолк, и Логу неожиданно захотелось признаться ему во всем. Путешественник уйдет сегодня, он просто не успеет донести на Лога, да и не станет этого делать, ведь он сам такой, и он один может понять.

— Петрин, — сказал Лог, звуки чужого имени казались необычными, как сам Путешественник. — Вы... вы не боитесь Голоса неба?

— Я боюсь всего, чего не знаю. А что такое Голос — я не знаю. Как не знаешь и ты. И никто. Я боюсь Голоса неба только поэтому, хотя и знаю, что еще никто и никогда не пострадал от него.

— Почему? — Лог заговорил торопливо, уж это он знал, об этом им всем ежедневно твердили в молитвенном доме. — Голос может быть добрым, и тогда родится хороший урожай. Голос может быть злым, и тогда в селении кто-нибудь умирает. Недавно Голос призвал Антора, пекаря, а он был не так уж стар.

Путешественник неожиданно рассмеялся.

— Скажи, Лог, сколько раз в году ты слышишь Голос неба?

— Ну... Двадцать.

— А урожай бывает дважды в год, и умирают люди не так уж часто. Значит, в большинстве случаев Голос звучит впустую? И еще: ведь люди умирают не сразу после того, как раздастся Голос? Или до или после, и бывает, что намного после. И все же виноват Голос...

Лог хотел возразить, но скрипнула отворяемая дверь, и он промолчал. Вернулся плотник.

— Мне пора, — сказал Путешественник, поднимая с пола тяжелую котомку. — Валент проводит меня до последнего дома. Дальше сам. Прощай, малыш. Рад был поговорить с тобой.

Путешественник быстрым движением привлек Лога к себе и зашептал ему в ухо, щекоча жесткими волосами:

— Ты видел когда-нибудь голубой туман с желтыми прожилками? Он переливается всеми оттенками, и кажется, что ты в огромной игрушке... А желтый туман? Он неприятно пахнет, и голова от него болит, и дрожат ноги. Остерегайся желтого тумана. А оранжевый? Ты видел когда-нибудь оранжевый туман?

Лог потрясенно качал головой. Он не видел, и он не смел признаться сейчас, когда плотник стоял неподалеку и ловил каждое слово, что в этом и заключается его мечта, смысл жизни — увидеть ярко-оранжевый туман, и туман желтый, и голубой. Всякий, кроме этого обыденного и скучного серого цвета. Лог держал Путешественника за локоть и не хотел отпускать. Если бы он мог, он ушел бы с ним. Но он не мог. Путь его, Лога, был иным, но и в этом он не смел сейчас признаться.

— А знаешь ли ты, — жарко шептал Петрин, — чем туман отличается от воздуха?

— Ничем, — удивился Лог.

— Почему же два слова, а не одно?

— Мало ли? — Лог пожал плечами. — Слова часто повторяют друг друга. Ложь и обман. Правда и истина.

— Подумай, малыш, и ты услышишь в этих словах различия. Ложь может быть нечаянной, обман всегда преднамерен. А как же туман и воздух? Если слова разные, то кто-то, придумавший их, вкладывал в них разный смысл, верно?

— Не знаю, — растерянно сказал Лог, не понимая, в чем хочет убедить его Путешественник.

— Ну скорее, — заскрипел плотник, который наверняка, стоя в двух шагах, прислушивался к шепоту. — Пойдемте, Петрин. А ты, Лог, ступай в поле.

Путешественник легко оттолкнул Лога и пошел на голос. Шаги протопали по улице, и все стихло. Лог опустился на угол скамьи. «Как это замечательно, — думал он. — От селения к селению. Сквозь туман. Ничего не видеть впереди, не знать, что ждет тебя через мгновение, и все равно идти. Рискуя, достичь нового селения, но не остановиться, а идти дальше». С детства, когда Логу сказали об уходе отца, Лог часто думал о том, где тот сейчас. И зарождалась мечта: увидеть иной туман. Оранжевый. Почему-то этому цвету Лог отдавал предпочтение перед остальными, возможно, потому, что Лена любила все оранжевое. Может быть, оранжевый туман прозрачнее серого, и если здесь, в селении, даже в лучшие дни видно не дальше чем на три-четыре локтя, то там... Может быть, там, разговаривая с человеком, всегда видишь его лицо и не только по интонации голоса

догадываешься о настроении. Но старый Лепир, единственный в селении, пришедший издалека, не видел никакого оранжевого тумана. Да и пришел он, скорее всего, из ближайшего селения, и хотя, по его словам, проплутал немало и едва не погиб, но ведь плутать он мог и на одном месте — таково уж свойство тумана, таков Закон. То, что сказал, уходя, Путешественник Петрин, не укладывалось в сознании. Нет, укладывалось, еще как укладывалось. Первое подтверждение того, что мечта может сбыться. Он, Лог, еще многое может узнать о мире, в котором живет. Он еще увидит такую красоту, какую не видел никто...

Лог выбрался на улицу, нащупал веревку, ведущую в поле, она отличалась от других, натянутых вдоль дороги, своей толщиной, и Лог быстро пошел, перебирая веревку пальцами. Он нашел бы дорогу и так, он ходил в поле ежедневно уже два года, с тех пор как старейшины объявили его совершеннолетним. Но сейчас он не хотел идти наугад. Боялся? Да, и боялся тоже, потому что забрезжила цель. Нельзя рисковать по пустякам.

* * *

До вечера Лог подсекал упругие стебли и складывал вдоль гряды в ровные полосы, чтобы шедшие за ним ребята убирали стебли в скирды. Работа была монотонной и не мешала думать и даже разговаривать с соседями, которых он, конечно, не видел, но прекрасно слышал и знал.

Когда гулко пронесся удар гонга — конец работе, уже темнело. Лог устал, проголодался и подумал, что в таком состоянии он не сможет сделать то, что задумал на сегодня. Он только сходит и проверит, все ли цело, не нашел ли кто-нибудь случайно его делянки. Дома его ждал обед, малыши повисли на руках, а мать, невидимая в тумане и вечерней серости, сказала:

— Лог, староста просил тебя зайти.

Ухнуло сердце. Просил зайти. Приказал — это вернее. Последний раз староста вызывал Лога три года назад, когда он с ребятами ходил избивать камнями дом с привидениями. Дому-то ничего не сделалось, а ребят и Лога наказали.

Наскоро поев, Лог бросился вон из дома, и одному

ему известной дорогой, находя путь по едва заметным приметам — зарубкам, которые он нащупывал руками, прежде чем успевал увидеть, он дошел до окраины селения и, присев, долго искал конец оставленной вчера веревки. Нашел он ее немного в стороне от того места, где ожидал, и поспешил в сгустившуюся темноту, уверенный, что ничего не найдет на делянке и что вызов к старосте связан именно с этим ужасным событием, перечеркнувшим все его надежды и планы. Он так торопился, что поранил обо что-то ногу, но на делянке все оказалось в порядке, все, как он оставил вчера, ничто не сдвинуто с места, ничего не пропало.

Переведя дух, Лог пошел обратно, торопясь застать старосту до сна — тот ложился рано, — иначе не избежать новых наказаний. О причине вызова он больше не думал. Главное, что никто не нашел делянку. Остальное — ерунда.

У двери старосты он прислушался, но все было тихо, где-то в глубине комнаты горели лампады, рассеивая желтоватый свет, — три круглых пятна на сером полотне. Староста жил один, и если не молился в молитвенном доме, то обычно лежал на кровати, отдыхая после трудового дня. У старосты никогда не было легких дней. Человек он был немолодой, а забот хватало.

— Иди сюда, Лог, — сказал староста, узнав шаги. — Не бойся, я позвал не наказывать, хотя ты и заслуживаешь наказания.

Лог нащупал скамью у стола, сел. Солома под старостой зашуршала, он не встал, он и без того прекрасно знал, какое сейчас у Лога лицо. Боится наказания. Все боятся наказания.

— Путешественник поразил тебя, — сказал староста, — и я хочу предостеречь. Ты, Лог, падок на все необычное, это у тебя в крови. Тебя тянет то в дом с привидениями, то к Путешественнику. И ты не замечаешь, что он глуп.

Лог сделал движение, едва не смахнув со стола кружку с водой.

— Да, глуп, — староста повысил голос. — Умный человек не станет мотаться от селения к селению, когда везде жизнь тяжела и везде одинакова. Разве не этому учит Закон? Разве не для того, чтобы служить Закону,

живет человек? Ты и сам, Лог, хорошо это знаешь, ведь ты был лучшим учеником у старейшин. Далеко ли может видеть взгляд? Не дальше протянутой руки. Далеко ли может слышать ухо? Не дальше соседних домов. Вот и все. Нужно жить тем, что рядом с тобой. Голубой туман... Если даже есть такой, искать его — недостойная ересь. Чтобы жить, нужно работать и работать. И думать о ближних: о матери, о малышах, о том, что на доме прохудилась крыша и, значит, нужно сделать ремонт. Это жизнь. Ты умен, Лог, а Петрин глуп и умрет где-нибудь в поле от голода и сырости. Тебя будут помнить, а его забудут. Ты успеешь сделать много добрых дел, а он даже зла не совершит. Понимаешь, Лог?.. Старейшины хотят наказать тебя, но я пока не стану. Подумай, Лог, о том, что я сказал. А теперь иди...

«Значит, староста узнал о последних словах Путешественника? — подумал Лог, выходя из дома. — Неужели плотник Валент все слышал?» То, что староста сказал в назидание, Лог знал, это были поучения Закона, и все это было верно только не для него.

Старый Лепир жил, к сожалению, не один. Он снимал маленькую комнатку в доме, где обитали еще три семьи, и когда Лог разговаривал со стариком, ему всегда мешал шум за стеной, голоса, смех, а то и крики. К тому же и там, за стеной, при желании можно было услышать, наверное, даже шепот, и Лог не знал, какая часть их разговоров с Лепиром становилась известна старейшинам. Лепир уже больше года не покидал своей комнатки, к старости он вовсе ослеп, и слепота не тяготила его, он отлично ориентировался, но видеть его подернутые бельмами глаза Логу было невыносимо.

— Я думал, что ты уже не придешь сегодня, — сказал Лепир, узнав шаги.

— Здесь был Путешественник, — сказал Лог.

— Знаю, — Лепир перешел на шепот. — Я тут за день всего наслышался... Пришел и ушел... Ты говорил с ним?

Лог пересказал разговор, стараясь вспомнить не только слова, но и интонации.

— Когда-то и я тоже, — вздохнул Лепир. — Но чтобы так, сразу, уйти... Он безрассудный человек, этот Петрин. Погибнет. Оранжевый туман, да... Красиво. И подумать

только, что люди губят себя ради красоты. Какая разница, какого цвета туман?

Лог молчал пораженный. Это был день изумления. Теперь поражал его старый Лепир, который, сколько помнил Лог, с упоением вспоминал свое единственное Путешествие, продолжавшееся восемь долгих дней.

— Ага, — прошептал Лепир, — ты думаешь, я спятил на старости лет. Нет, просто я думаю... Ради одной лишь красоты не стоит уходить. Если ты ищешь неведомую красоту — оранжевый туман, говоришь ты, то ведь знаешь, что хочешь найти. А? Представляешь себе. Но тогда и искать не стоит. Вообрази себе оранжевый туман, и наверняка в воображении он окажется красивее, чем на самом деле. Верно? Идти нужно только тогда, когда не знаешь, что найдешь. Вот почему так мало Путешественников. Все все знают. Знают, что днем светло, а ночью темно, и так везде. Знают, что Голос неба забирает часть урожая, оставляя нам столько, чтобы мы не умерли от голода. И так везде. Верно? Знают, что новые ножи, топоры появляются на дороге, когда этого хочет Голос. Почему появляются? Знают и это: Голос дает их в награду за наш урожай. Мы все знаем. Зачем тогда путешествовать? А?

— Искать красоту, — убежденно сказал Лог. — Я представляю себе оранжевый туман, но если то, что я найду, окажется невообразимо прекраснее?

— Все-таки ты ищешь не красоту, а знание, — едва слышно сказал Лепир. — Новое знание. Пусть это будет знание новой красоты. Но разве для того, чтобы узнать что-то новое, Лог, нужно обязательно куда-то идти? Скажи, разве здесь, в селении, ты не можешь насытить свою жажду нового?

— Я знаю здесь все, — усмехнулся Лог, — и между прочим, с твоей помощью, Лепир.

— Да, я научил тебя, чему мог. А что глубоко под землей, глубже самых глубоких колодцев? А что в песчинке, такой маленькой, что глаз наш не в силах разглядеть?

— Да, — сказал Лог, решившись, наконец, приоткрыть перед Лепиром часть своей тайны, не всю, не настолько, чтобы старик понял, но часть, чтобы услышать ответ. — Я не знаю этого. И еще я не знаю, что там, высоко над головой, выше деревьев, выше домов.

— Голос, — сказал старик. — Голос, небо и свет. Не будь Голоса, мы бы не жили, не будь света, земля была бы бесплодной.

— А если там, откуда приходит свет и где обитает Голос, туман не серый, а оранжевый?

— Опять ты об этом, — с досадой сказал старик. — Ты вырос, Лог. Прежде ты слушал меня, а теперь — себя.

Лог промолчал, ему почудилось какое-то движение за тонкой стенкой. «Мы слишком громко разговариваем, — подумал Лог. — И не о том. Не такие разговоры принято вести в селении. О пахоте и севе. О ремонте дома. О ремеслах. И конечно, не о красоте непостижимого».

Лог коснулся рукой тонкого плеча старика, приник к нему в темноте, зашептал:

— Путешественник Петрин смелый человек, но он не там ищет красоту. А ты, Лепир, не там искал знание. Ни в двух, ни в трех, ни в тысяче дней перехода нет ничего нового — ты ведь сам был Путешественником, и Петрин говорит то же самое. И под землей ничего нового нет. И ты, и Петрин, и мой отец — все вы повторяли друг друга. Один искал новую красоту, другой — новое знание, третий — лучшую жизнь. И никто не нашел и не мог найти, потому что шли тем же путем, что и многие до них. А нужно иначе. Совсем иначе, понимаешь? Чтобы увидеть красоту, какую никто не видел, чтобы узнать то, чего никто не знает, нужно ведь и сделать то, чего еще никто не делал.

— Что ты задумал, Лог? — шепот Лепира был встревожен. — Я не понимаю тебя. Ты говоришь странные вещи, и хорошо, если говоришь только мне. Не забывай о Законе, Лог...

* * *

За ним пришли рано утром. Лог успел покормить малышей и оделся, чтобы идти в поле. В это время в дом вошли несколько человек, один из которых, судя по голосу, был старостой. Лог и не подумал прятаться.

— Честное слово, Лог, — сказал староста, связывая ему руки, — ты неразумен, как младенец. Я предупреждал тебя... Ничего, наказание, думаю, не будет

суровым. Ты ведь впервые перед судом старейшин.

И в это время раздался Голос. Он возник из утренней тишины, сгустился из тумана, за какие-то мгновения уплотнился, набрался сил и загремел оглушающе над самой головой, отражаясь от стен, крыши, от всего, что попадало ему на пути, и даже в голове Лога Голос отражался и усиливался многократно, низкий и властный, зовущий и пугающий. Голос неба.

Все замерли. Староста едва слышно в этом грохоте кричал слова молитвы, а у Лога пересохло в горле, и он молчал, думая в испуге, чья же сейчас очередь умирать. Ведь не за урожаем явился Голос в этот неурочный утренний час! Уж не за старым ли Лепиром? О себе Лог не подумал. Только после того как Голос смолк, растаял в тумане, после того как руки старосты неожиданно жестко схватили его за локти и потащили к невидимой в тумане двери на улицу, только после того как закричала мать, а малыши, путаясь под ногами, заревели почти так же громко, как Голос, только после всего этого уже на улице Лог подумал, что явление Голоса было воспринято старостой и всеми, кто пришел с ним, как указание: его, Лога, наказывают справедливо.

До землянки, в которую сажали провинившихся и кающихся, Лог дошел сам. Дорогу он знал не хуже остальных, туман несколько поредел, и Лог видел даже плечи двух человек, шагавших рядом с ним. Лог позволил запихнуть себя в тесное помещение, где только и было место для лежанки, а в отверстие над головой можно было просунуть руку и даже голову, но не больше. Дверь захлопнулась, скрипнул засов, и голос старосты сказал:

— Судить тебя будем завтра. Думай и кайся, Лог. Вот твоя провинность перед Законом: ты хотел запретного и посягал на устои.

Шаги стихли. Лог опустился на лежанку, постель была сырой, но больше сидеть было не на чем. «Конечно, — подумал Лог, — вчерашние разговоры дошли до ушей старейшин. И с Путешественником, и с Лепиром. Но за крамольные желания наказывают месячным покаянием. А потом он продолжит свою работу. Если только... Нет, не должно случиться, чтобы его делянку нашли. Но кто выдал? Кто слышал их разговоры? С Путешественником — плотник Валент. А с Лепиром?

* * *

День прошел. Логу не было скучно, он размышлял. Он впервые размышлял так неторопливо, считая свободное время не пригоршнями, а целыми охапками. Под вечер явился староста, опустил в оконце похлебку и подождал, пока Лог насытится.

— Завтра соберется совет старейшин, — сказал староста. — Если ты одумался, то тебе, конечно, окажут снисхождение, и самое страшное, что тебе грозит, — год заключения.

Год?! Год в этом земляном мешке, и выпускать будут только в поле, потому что работать должны все. А как же мать? Как же старый Лепир? А делянка? Ее найдут, и тогда — новое наказание, еще суровее. Все будет кончено. Все и так кончено. Чтобы жить с людьми, нужно быть такими, как они, как все, как каждый. А если ты хочешь чего-то иного, чего-то, о чем нельзя и подумать? Тогда — в мешок тебя. Оранжевого тумана захотелось? Будет и оранжевый, и зеленый в крапинку. Во сне.

Староста ушел, так и не дождавшись от Лога вразумительного ответа. Голос и шаги его давно стихли, а Лог все сидел неподвижно, будто примерз, хотя летняя ночь была тепла. «Нужно было уйти, — думал Лог. — С Путешественником Петрином или одному». Какой он глупец! Он хотел слишком многого сразу и потерял все. Через год он никуда не сможет уйти, за ним будут присматривать, любой его шаг — а шаги его научатся узнавать в самом густом тумане — тут же станет известен старейшинам. Пропадет мечта. Пропадет жизнь.

— Лог, — услышал он растерянный шепот. — Лог...

Это был голос Лены. Лог мгновенно вышел из состояния полусна. Он вскочил на лежанку и вытянул вверх руки. Ладони уперлись в низкий земляной потолок и нащупали тонкие горячие пальчики Лены, тянувшиеся к нему из оконного отверстия.

— Лена, — сказал Лог, — Лена...

Лена тоненько заплакала, как в ту минуту, когда он поцеловал ее в первый раз, против ее воли, притянул к себе, сам не ожидая от себя такого поступка, и почувствовал ее сладкие упругие губы.

— Не надо, Лена, — сказал он, морщась и стараясь придать голосу уверенность, которой он не испытывал. —

Ну подумаешь, год. На следующем празднике Урожая мы будем вместе и навсегда.

«Вместе и навсегда, — подумал он. — Навсегда — вот это верно». Ему тоже захотелось заплакать, губы задрожали, а пальцы царапнули по земляному потолку, и на голову Лога посыпались мелкие камешки и песок. Смутная мысль промелькнула в голове, и Лог даже на мгновение задержал дыхание, чтобы мысль не ускользнула.

— Лена, милая, хорошая, — сказал он.

— Я принесла то, что ты хочешь, — неожиданно ясным и спокойным голосом сказала Лена.

— Ты принесла...

— Топор и лопатку.

— Ты подумала об этом даже раньше меня, — пробормотал Лог.

Это была единственная возможность, и то, что Лена подумала о ней раньше него, заставило Лога понять простую и, видимо, очевидную для всех, кроме него, мысль: есть и кроме оранжевого тумана, кроме мечты об иной красоте, кроме странствий и поиска неведомой истины, есть, кроме всего этого, вещи, ради которых стоит жить. Любовь, например. Любовь, которая поняла сердцем, что не будет Логу жизни с сознанием пустоты в душе, необходимости существовать, подчиняясь Закону.

Лог думал об этом, и слезы текли по щекам впервые за последние годы, он давно забыл, что способен плакать, и плакал он не о себе, а о своей Лене, которая останется в селении и будет любить его даже тогда, когда он, может быть, уже умрет где-нибудь в поле или на чужбине. Лог думал об этом, а руки сами делали все, что нужно. Подхватили инструменты, начали разбивать топором и разрыхлять лопаткой камень и песок, расширяя отверстие окна, а песчинки и камешки сыпались на Лога, в глаза, рот, за воротник. В ночь перед судом старейшин узника нельзя было сторожить — до людского суда Лог оставался пленником Голоса неба. И если он не воспользуется случаем сейчас, убежать потом будет невозможно. И Лена, милая Лена, поняла это даже раньше самого Лога.

Отверстие над головой стало достаточно велико,

и Лог с помощью Лены выбрался из ямы, повалился на землю, тяжело дыша, а Лена стряхивала с его лица и одежды песок, будто это было так уж необходимо сейчас, и целовала Лога в грязные щеки.

— Вот, — сказала она потом. — Это мешки с провиантом. Это — твой, а это мой.

И только после этих слов Лог понял смысл ее поступка, гораздо более безрассудного, чем ему показалось вначале. Лена хотела уйти в Путешествие вместе с Логом. Быть с ним если не здесь, то там, если не там, то нигде. Лог прижал девушку к себе, шептал слова, которые давно хотел и не решался сказать, слова, которые были правдой еще минуту назад, а сейчас стали лишь средством усыпить подозрения Лены, потому что взять ее с собой Лог не мог. Он вовсе не хотел стать Путешественником, повторять бессмысленные подвиги Лепира и Петрина. Путь его был иным. Сейчас или никогда.

Он взвалил себе на спину обе котомки и, стараясь вспомнить путь к своему страховочному колышку, низко пригнулся к земле, нащупывая в полной темноте направления тропинок. Лена шла сзади, держась за конец веревки, свисавшей с одной из котомок.

В селении было тихо, люди спали, сквозь туман не проникал ни один лучик. Логу казалось, что он ужасно долго не может найти своего колышка, вот-вот рассветет, и его начнут искать. Лена молчала, и Лог знал, что ее мучит один вопрос: что они ищут? Уйти в Путешествие можно ведь в любом направлении и из любого места, хотя бы от той же землянки.

Вот он, колышек. Вот его, Лога, зарубка, вот его, Лога, страховочная веревка, ведущая к делянке. Лог перевел дух и обернулся к Лене. Он должен был сейчас предать ее, и это был единственный шанс им обоим спастись.

— Лена, милая, — сказал Лог, обняв девушку и чувствуя, как сам слабеет. — Лена, хорошая моя, я не могу уйти так, мне нужно домой очень ненадолго. Взять кое-что. Ты тоже иди к себе и возвращайся на рассвете. Все будет в порядке. Время есть. Вот... запомни колышек и дорогу.

Лена почувствовала подвох в решении Лога, но промолчала. Если уж она решилась быть с Логом, то должна

делать все, что он скажет, не расспрашивая и не рассуждая. Когда шаги Лены стихли в гулкой темноте, Лог позволил себе на минуту расслабиться. Он опустился на мокрую землю, облокотился на котомки, закрыл глаза, отдыхал. «Сейчас, — подумал он. — Сейчас случится то, для чего я жил последние полгода».

* * *

Полгода назад — стояла зима, все кругом было матово-белым от оседавшего на землю из тумана инея — Лог забрел случайно на заброшенное поле. Земля здесь не родила, чахлые стебли были неприятны на вкус, и поле забросили, хотя каждый участок был на счету. Страховочная веревка тянулась вслед за Логом, легко сматываясь с поясной катушки. Был зимний праздник Благодарения, и все сидели по домам, пекли пироги, собирались на большую вечернюю молитву. В поле тишина стояла необъятная, какая-то гулкая, бездонная. Мороз продирал, но Логу было хорошо. Возвращаться до начала молебна не хотелось, и, достав из многочисленных карманов запасенные щепки и кремни, он высек огонь, раздул его и, присев на корточки, вытянул над костерком руки. Огонь был багровым, и туман, сквозь который он просвечивал, казался оранжевым. Оранжевое облачко, клубящееся и рвущееся кверху. Рука тоже ощутила это движение тумана, и мысль Лога, ясная и не стесненная ничем, впервые отметила это движение вверх как некую реальность. «Вверх, — подумал он. — Вверх. Что-то есть в этом». В кармане завалялся клочок материи, Лог расправил его на ладони и, подержав над огнем, выпустил из рук. Полотно начало было падать, но повисло на какое-то мгновение, а потом даже поднялось немного вверх, медленно-медленно... и упало. Исчезло в пламени, истлело. Лог смотрел, как угасает огонь. «Вот оно что, — думал он. — Огонь — вот сила, которая тянет вверх полотно. Нет, не полотно. Огонь почему-то толкает вверх туман, а уж туман увлекает за собой кусок материи...

Неужели никто из Путешественников раньше не додумался до этого? Вверх. Двигаться вверх».

Полгода назад это было, и с тех пор началась у Лога странная двойная жизнь. Началась тайна, в которую он

не посвящал никого. Сначала Лог экспериментировал с огнем и полотном. Он нарезал из материи кусочки разной формы и размера и бросал в туман над костром. Когда однажды довольно большой кусок полотна неожиданно выгнулся куполом и застыл, трепеща, а потом медленно двинулся вверх и, выпущенный из рук, скрылся в тумане над головой, Лог в восторге даже загасил пламя неосторожным движением. Он стоял во мраке и впервые за все время подумал о том, что это реально. Это. Странное, немыслимое, никем еще не придуманное, только им, Логом, увиденное и теперь реальное, вполне реальное. Нужно пробовать еще и еще, ведь если вверх мог улететь такой большой кусок полотна, то улетит и еще больший, нужно только больше пламени, и если полотно может лететь, то способно унести с собой еще что-нибудь. Да, нужно больше пламени. Огромный костер и огромный лоскут.

Почему лоскут? Если именно туман увлекает вверх полотно, то нужно... Да! Нужно сделать так, чтобы этот особый, создаваемый огнем туман так и остался в материи, не растекся во все стороны...

На следующий вечер, обманув мать уверениями, что он должен сшить себе новую рубашку, Лог сел за разваливающийся станочек — любимое мамино утешение, стоявшее дома с незапамятных времен и доставшееся матери, кажется, еще от ее прабабки, — и сшил неуклюжий, но легкий мешок с горловиной, которую можно было легко затянуть тугой нитью. Малыши мешали работать, станок раскачивался и грозил окончательно развалиться, но Лог все же довел работу до конца и заснул удовлетворенный, измученный и заинтригованный и на другой день работал в поле из рук вон плохо, считая время от колокола до колокола. В тот вечер неуклюжее сооружение (для него Лог придумал звучное название «туманный шар»), повисев над костром, начало подниматься, натягивая нить, на которой висел довольно тяжелый камешек.

Шли дни, а точнее сказать, дни тянулись, а вечера летели, полные забот и волнений. Лога почти не беспокоило, что кто-то может выследить его на делянке. Найти в тумане именно тот страховочный колышек, к которому привязана именно его, Лога, страховочная

нить, можно было лишь чисто случайно, а в этой части селения, где начиналось заброшенное поле, люди появлялись нечасто. На вопросы матери о его вечерних отлучках Лог придумывал нечто невразумительное, и мать верила или думала, что, наверное, у него свидания с Леной, и не особенно допытывалась.

Через месяц Лог уже знал, что большой мешок, самый большой из сшитых им «туманных шаров», способен поднять камень и продержаться на высоте в десять локтей примерно полвечера. Потом все кончалось. Туман, созданный огнем, почему-то терял свои необычные свойства, и мешок опускался — медленно и безнадежно. Это еще не было трагедией — Лог вовсе не горел желанием немедленно испытать на себе обнаруженное им необычное свойство тумана.

Однажды, погасив костер, собрав и сложив под камнем мешки — не унес бы ветер, — Лог услышал в ночной тишине тихое потрескивание. Иней с почвы сошел, открыв мокрую, липкую и холодную землю, то и дело вздувавшуюся маленькими пузырьками. Пузырьки лопались, исчезали в тумане, оставляя тот неприятный горьковатый запах, который Лог почувствовал еще в свой первый приход на делянку. Из-за этого запаха и было заброшено поле много лет назад, но Логу раньше и в голову не приходило как-то связать запах с пузырьками.

Услышав потрескивание и вспомнив, что оно означает, Лог подумал неожиданно, что ведь пузырьки — тот же туман, они зарождаются где-то под землей, прорываются вверх и сливаются с воздухом, ничем от него не отличаясь, и только запах выдает их присутствие. Лог закрыл место, где пузырьков было больше всего, куском полотна и обнаружил, что полотно приподнимается, что пузырьки тянут его вверх. Это новое открытие так увлекло Лога, что он забыл о возвращении. Из состояния оцепенения, с которым он слушал, как лопались пузырьки, его вывел нарастающий Голос неба. Лог пустился бежать, едва не заблудился и явился домой, грязный, падая от усталости. Мать бранила его, но он не слышал, он подумал внезапно, что эти пузырьки — они легкие, иначе не могли бы приподнять полотно, и что если собрать их много, очень много и наполнить большой «туманный шар»...

Все, что было потом, слилось для Лога в одно прекрасное деяние, прерываемое необходимостью работать в поле, сидеть с малышами, помогать матери, носить еду старому Лепиру, — вещами привычными, но совершенно ему, Логу, ненужными. Мысленно Лог был где-то там, наверху, и вокруг него клубился изумительный по красоте оранжевый туман, в котором легко дышалось, легко думалось и легко жилось. Да, так могло получиться, потому что уже первые опыты с пузырьками показали — они могут поднять значительно больше полотна, чем туман, создаваемый огнем.

Лог так и не сумел сшить мешок, который поднял бы его самого. Не потому, что зто было невозможно, просто он не сумел бы избежать вопросов матери, не сумел бы скрыть необычность своего шитья. Он сделал пять не очень больших «туманных шаров» и подвесил их над местами выделения пузырьков. На счастье Лога — он действительно считал зто огромной удачей — свойство пузырьков поднимать вверх «туманные шары» не исчезало со временем. Более того, к середине лета, с приближением Дня урожая пузырьки стали выделяться интенсивнее, будто под землей усилилась невидимая и постоянная работа какого-то таинственного, доброго к Логу, существа.

* * *

Лог взвалил на спину котомки — Лене они ни к чему, а ему пригодятся обе, если «туманные шары» смогут их поднять, — и шагнул в поле, перебирая рукой страховочную веревку.

На делянке ничего не изменилось: низко над землей висело пять мешков, насыщаясь пузырьками пахучего тумана. Лог распустил веревки на полную длину, и шары рванулись вверх, повиснув невидимо где-то над головой. Лог притянул назад один из «туманных шаров», зто удалось ему с трудом, но Лог удержался от проявления восторга. Он привязал к веревке котомку с провиантом, и «туманный шар» легко поднял зтот груз. Лог привязал и вторую котомку — к другому мешку и лишь потом задумался над простым, в сущности, вопросом. Он ведь понятия не имеет, что ждет его там, наверху. В любом Путешествии по земле была неопре-

деленность риска, но точное знание того, что Путешественнику пригодится пища, чтобы не умереть от голода, и постель, чтобы не спать на сырой земле. А там, наверху, где нет ничего, кроме тумана и Голоса неба?

«Я только должен убедиться, — подумал Лог, — должен сам увидеть оранжевый туман, а потом отрежу один или два мешка и опущусь в поле, и тогда, наконец, узнав истинную красоту, стану Путешественником».

Так, убедив себя, что котомки с едой и постелями еще пригодятся, Лог начал привязываться. «Туманные шары» были сцеплены вместе, лямки, которые должны были обхватить Лога за плечи, под мышками, он приладил несколько дней назад, а сейчас привязал крепким узлом сиденье и сел на него. Сидеть было неудобно, веревки впивались в тело. Нужно было сделать более удобное сиденье, там, в котомках, есть постели, можно использовать их.

Дернулась страховочная веревка, все еще державшаяся на поясном кольце. Лог замер. Почудилось? Веревка дернулась ощутимее, едва не вырвав Лога из сиденья.

«Лена вернулась, — подумал он. — Теперь станет пробираться сюда и нужно будет ее успокаивать и убеждать вернуться. Или даже грозить».

Это была не Лена. Лог услышал голоса. В тумане вдоль веревки двигались люди. Гулкий бас принадлежал одному из старейшин, мужчине огромного роста с неприятным бородатым лицом. Второй голос, что-то бормотавший в ответ, был голосом старосты.

Неужели Лена, вместо того чтобы идти домой, все рассказала старосте? И, предавая ее, неужели Лог встретился с другим предательством, не во спасение, а во зло?

Лог отбросил подальше конец страховочной веревки, уселся плотнее, чтобы случайный рывок не вывалил его из сиденья. Лог едва доставал ногами до земли и не мог нагнуться, чтобы отцепить пять привязанных к «туманным шарам» веревок от вбитого в землю кола. Голоса приближались, и тогда Лог, достав удобно положенный в карман нож, полоснул по веревкам.

Все осталось по-прежнему, только сиденье слегка

качнулось, и ноги, сколько ни вытягивал их Лог, не находили опоры. А потом Лог услышал голоса — откуда-то снизу, будто из-под земли.

И лишь тогда он понял, что летит.

* * *

Был мгновенный, иглой кольнувший страх и было быстрое успокоение, потому что связка «туманных шаров» поднимала свою ношу легко и почти неощутимо. Но главное, почему Лог знал, что не висит на одном месте, было растущее ощущение холода. На поле стояла летняя вяжущая теплынь, а здесь было холодно, как в хорошее зимнее утро. Лог не мог этого предвидеть, и теперь дрожал, и клял всеми словами свою непредусмотрительность, хотя как он мог предусмотреть то, о чем ничего не знал?

Лог согревал себя тем, что пытался отвечать на разные, приходившие в голову «почему»: почему наверху холодно? Почему, несмотря на то что до утра еще далеко, над головой наметилось нечто расплывчато-зеленоватое, едва видимое, но все же различимое, как далекие отсветы горящей лампады? И почему, когда Лог поднес к глазам намокшую вдруг ладонь, он увидел лежащие на ней огромные снежинки?

Лог протянул в туман руку, чтобы поймать побольше этих неожиданных в летнее время снежинок, и ощутил вдруг, как мгновенно вспотела спина и даже волосы, кажется, зашевелились на макушке: он видел кончики пальцев вытянутой руки. Даже в этом мраке, едва освещаемом неразличимой лампадой, он видел в тумане то, что с трудом мог различить в самые прозрачные дни! Он посмотрел вверх и с предельной отчетливостью, будто перед самыми глазами, увидел все пять «туманных шаров», все связывающие их веревки, и котомки с провиантом, и все это, совершенно невозможное для охвата одним-единственным взглядом, на слабо светящемся фоне зеленоватого почему-то тумана.

«Почему туман и воздух — разные слова?» — вспомнил Лог.

Он смотрел вверх, выворачивая шею, а туман над головой все больше редел, и в нем все четче возникал огромный светящийся круг, непонятно как держащийся

там, в небе. Страх, который Лог испытал по этому поводу, сменился и вовсе безотчетным ужасом: издалека приближался, сминал ночную тишину Голос неба. Что-то невидимое надвигалось, рвало в клочья воздух, туман и все вокруг, сиденье под Логом раскачивалось все сильнее, он едва не выпал из него, а Голос ревел, и это был конец. Это был гнев небес, и он был ужасен.

Полностью парализованный, Лог ждал смерти, но Голос стал затихать, он нырнул куда-то в глубину, и Лог слышал его почему-то под собой, куда не смел взглянуть. Лишь много времени спустя, когда Голос истаял окончательно, Лог посмотрел вниз и увидел белое поле снега, бугристое, с бросками четкими тенями, и поле это тянулось так далеко, как... Логу не с чем было сравнить, и он понимал только одно: он видит. Не на пять, не на двадцать, не на сто локтей. Может, даже не на тысячу.

Заболели глаза, они не привыкли к такой работе — смотреть вдаль. Лог зажмурился на мгновение, а когда вновь решился открыть глаза, взгляд его был направлен не вниз, а вверх.

Туман исчез.

Была чернота, абсолютная чернота вымазанного сажей купола. И на куполе блестели, искрились, светились, переливались яркие и слабые, белые, голубые, желтые точечки, снежинки. Казалось, что они меняются местами и приплясывают. Сознание Лога уже не было способно оценивать впечатления, и он не понимал, что точечки на небе совершенно неподвижны, а связка шаров раскачивается в высотном течении, унося Лога прочь от родного селения и от всех навсегда для него умерших земных проблем.

В глаза Логу заглянуло огромное зеленоватое лицо с какими-то пятнами, безглазое и безносое, и почему-то с выщербленной щекой. Это была та лампада, что светила сквозь туман, она превратилась в лицо, четкое, страшное, окруженное снежинками-точечками. Лицо тянуло Лога к себе, и он, широко раскрыв глаза и уже не сдерживая рвущийся из горла крик, чувствовал приближение неотвратимого и безнадежного.

Бездна купола становилась все глубже, все более слабые искорки появлялись из мрака, вступая в общий пляс, их стало больше, чем снежинок в поле, и бездна

уже не казалась черной — напротив, она сверкала, слепила, а когда Лог повернул голову, снежинки ринулись на него, упали на плечи, заколотили жгучим дождем и понеслись вокруг, и противная тошнота поднялась к горлу.

Он не чувствовал ни рук своих, ни ног, он умирал среди огней, ловил ртом остатки воздуха, разреженного на этой высоте, и не понимал, что губит его не гнев Голоса, а простой недостаток кислорода. И это не глаза небожителей смотрят в его глаза. И внизу — не снег, а все тот же туман, из которого связка воздушных шаров, наполненных легким газом, вынесла Лога в прозрачную и открытую вышину.

Лог уже не видел всего этого великолепия обычной летней ночи, а увидев, он не смог бы не только понять, но даже осознать всего, что видят его глаза.

Туман лежал холмистой равниной, освещаемый ровным и равнодушным светом почти полной луны, а между туманом и небом, которое вовсе не было твердью купола, неслась в воздушном потоке неуправляемая связка шаров, отбрасывая на поверхность тумана причудливую тень.

* * *

Как младенец, Лог ничего не понимал в том, что увидел, заново явившись в мир. Как у младенца, в теле его жили только ощущения — приятно и светло, тепло и хочется есть. Он не думал этими словами, он вообще не думал. Пришло время, и он насытился. Пришло время, и он вспомнил свое имя. Пришло время, и он начал разбирать детали внешнего мира, и увидел кое-что, знакомое из прежней жизни. Стол. Он вспомнил название. Скамья. Окно. Свет. Человек. Было и еще что-то непонятное, как не понимает малыш назначения никогда не виденных предметов. Внимание Лога сосредоточилось на человеке, сидевшем у изголовья постели. Ему удалось сконцентрировать внимание на лице человека, и это позволило Логу выйти из младенческого возраста. Он стал взрослым почти мгновенно и вспомнил все. Всю свою прежнюю жизнь и ужас последних минут, когда открылся ему мир, настолько непонятный, что Лог не в силах был принять его, а не приняв — не в силах жить.

Голова закружилась, и Лог вцепился пальцами в мягкое

одеяло. Воздух! В комнате не было воздуха! Он видел стол и скамью у противоположной стены, окно, выходящее в черноту ночи, яркую слепящую лампаду под высоким потолком — видел все сразу! Его глаза, от рождения привыкшие глядеть на расстояние вытянутой руки, не воспринимали объемности удаленных предметов, и до потолка в этой комнате без воздуха могло быть десять локтей, а могло быть и все сто тысяч.

Человек, сидевший у постели, молчал и улыбался. Лицо его было выбрито до синевы, как у юноши, но покрытое тонкими морщинами оно, несомненно, принадлежало старику. Лицо казалось знакомым, но и это впечатление могло обмануть.

— Малыш, — сказал человек, — малыш, тебя зовут...

— Лог, — он почувствовал, как клокочет в горле. Малыш. Человек был похож на Путешественника, на Петрина. Это не мог быть Петрин, но желание, чтобы это был именно Петрин, оказалось сильнее разума, и Лог, обретя, наконец, возможность если не мыслить логически, то хотя бы связно говорить, спросил:

— Почему?

— Почему? — переспросил Петрин.

— Почему я дышу? Здесь нет воздуха. Почему я вижу? Все кружится, но я вижу. Почему?

— Разве воздух и туман — одно и то же? Это разные слова, и обозначают они разные вещи.

— Петрин!

— Меня зовут Ярин... Я буду твоим наставником, Лог, в этой новой для тебя жизни. Пока ты не станешь самостоятельным. И скажу тебе сразу: ты жив. Ты был без памяти всего сутки, не так уж долго. Ты на Горе. И это теперь твой дом. Остатки твоего воздушного корабля в соседней комнате, как и твои вещи. И ты действительно видишь на много локтей вокруг. Глаза даны человеку, чтобы видеть мир. Весь и сразу. Здесь и там, далеко. Запомни это, Лог. Повторяй, пока не привыкнешь, пока это не войдет в тебя, не станет тобой... Ты жил в тумане и не знал, что туман — не воздух, а помеха. Но ты был недоволен, ведь так? Ты искал новое. Ты не мог жить как все. И ты нашел способ узнать. Ты узнал. Не все — только малую толику. Ты дышишь воздухом. Он вокруг тебя, невидим и неощутим. Воздух

открывает тебе мир, а туман закрывал его. Тумана здесь нет, Лог. Он остался внизу. Ты поднялся выше тумана. Ты поднялся выше себя, Лог. Подумай об этом, Лог, прими это как закон. Так есть.

Прежде чем Лог успел произнести слово, за окном раздался басовитый, рокочущий, угрожающий Голос неба. В этом звуке невозможно было ошибиться. Голос гневался на Лога, он едва не убил Лога там, в ночном тумане, он настигнет Лога здесь.

Ярин тоже услышал Голос, но остался совершенно спокоен. Может, он — бог? Ярин что-то сказал, и Лог даже услышал, но не воспринял, слова не проходили в сознание, где властвовал Голос.

— Это винтолет, — повторил Ярин.

И Лог успокоился. Его успокоило слово, на котором лежала печать неживого, придуманного. И пренебрежение, с которым Ярин произнес это странное слово «винтолет».

— Винтолет, — повторил Лог. — Это... Голос неба...

— А... — Ярин покачал головой. — Да, для тех, кто в тумане, это Голос неба. Опять туман... Нам приходится летать выше тумана, опускаемся мы редко, навигация только по приборам, это сложно и опасно. А вы не видите машину, вот и легенда. У вас много легенд. Больше, чем знаний. Есть и у нас легенды, притчи. Но совсем иные...

* * *

— Что поднимается выше туч?
— Горы.
— Что простирается выше гор?
— Небо.
— Что же за небом, где светят планеты и звезды?
— Мысль и Знание.

* * *

Лог почти ничего из сказанного не понял, кроме одного: Голоса неба нет. Он привстал на постели. Руки и ноги вполне повиновались ему, они больше не дрожали, и Лог решил встать. Но отказали глаза. Все закружилось, перевернулось, Лог вцепился в плечо Ярина, но не лег. Сидел, пережидая с закрытыми глазами приступ

тошноты. А Голос все звучал, доносился издалека, и когда, открыв глаза, Лог увидел все предметы на прежних местах, он спросил:

— Его... можно увидеть?

— Ты молодец, малыш, — сказал Ярин. — Ты просто молодец, Лог. Конечно, винтолет можно увидеть и даже потрогать. А потом и полететь на нем, если захочешь. Скоро взойдет солнце, станет светло, и ты увидишь город, и винтолеты, и заводы, и людей, которые уже любят тебя... А сейчас, чтобы ты не мучился ожиданием, я расскажу тебе историю нашей бедной планеты...

Лог покачал головой. Он не понимал и половины слов. Город. Завод. Солнце. Планета. Пустые звуки.

«Один шаг, — подумал Лог.— Один шаг и один удар ножом по натянутым веревкам. И — новый мир. Один шаг — и новый мир». Лог повторял эти слова, забыв о том, что до этого шага он сделал множество других. Он шел всю жизнь. Желал необычного, хотел того, что еще мог понять и представить, потому что человек просто не может хотеть того, чего не представляет. И получил свое, хотя совсем не то, чего ждал, и теперь должен перешагнуть через нелепицу, которая является не нелепицей мира, а лишь нелепицей его, Лога, представлений.

— Винтолет, — еще раз повторил Лог, — город, планета... Все кружится перед глазами, Ярин...

— Это естественно, — сказал Ярин. — Это пройдет. Закрой глаза, Лог. Слушай...

И Лог узнал.

* * *

Несколько тысяч лет назад это была прекрасная зеленая планета, с высоким и прозрачным зеленым небом («Не оранжевым?» — вставил Лог), по которому плыли белые облака («Что?» — спросил Лог, но больше не перебивал, только запоминал непонятное).

Жили на планете люди — племя землепашцев и умельцев, летали птицы, в лесах водились звери.

А потом пришел туман.

В недрах планеты шли процессы, которые никто из людей в то время не понимал. И постепенно, очень постепенно воздух, прекрасный, чистый и прозрачный

воздух, начал мутнеть. Почти всюду из-под почвы выделялись газы и пары, следы подземных реакций. Они были безвредны для людей, но птицы погибли почти сразу. Туман был везде, и уйти от него можно было, только поднявшись повыше. Туман был тяжел, он стлался по земле, и люди жили будто в молочном плену.

Они ушли в горы, не все, только часть. Другая часть осталась на равнинах, в привычной, хотя и изменившейся, обстановке. Те, что остались, сеяли и убирали, и жили этим, и этот труд, необходимый, чтобы не умереть от голода, был их жизнью. Они ничего не видели в тумане, но и не хотели видеть, потому что забыли, что это такое. Они привыкли. Еще несколько тысячелетий такой жизни, и у них, вероятно, развилось бы новое чувство, скажем, инфракрасное зрение или звуколокация. Но времени прошло немного — чуть меньше тысячи лет. И в долинах жило племя слепцов, создавших себе удобную веру в то, что так и должно быть, что мир — это селение, что жизнь — это работа в поле, дом, семья, дети, и больше ничего нет и быть не должно, потому что таков Закон. Это твое племя, Лог...

А другая часть народа уходила в горы. Туман настигал их, и они поднимались все выше. Им было худо, потому что в горах мало пищи; они, однако, не хотели сдаваться — не для того даже, чтобы выжить, а чтобы ответить на вопрос: «Почему? Почему случилась такая беда?»

Туман поднимался медленно, но неотвратимо. Только четыре горные вершины оказались выше тумана, когда движение его, наконец, прекратилось. Только четыре группы людей — небольшая горстка — остались жить, отделенные друг от друга тысячами километров. Ничего друг о друге не зная. Четыре острова в океане тумана. Но они отстояли себя. Более того, они сохранили знания. Они построили в горах поселки, а когда не хватало места, они взрывали скалы. Лучшими людьми здесь были ученые, инженеры. Чтобы передвигаться по горным склонам, люди изобрели вездеходы. Чтобы сообщаться с тремя другими городами, они придумали радиосвязь и воздухоплавание. И только одного у них всегда недоставало: пищи. Горные поля скудны, и спустя два-три столетия уже не могли прокормить возросшее насе-

ление. И перед нами, точнее, перед нашими предками, возникла проблема проблем.

Вот тогда и пришлось им спуститься в покрытые туманом долины.

* * *

«...И небо разгневалось на людей, явился Голос и началась буря, которая продолжалась много дней и ночей, а когда Голос умолк, люди покинули свои дома и вышли в поле, чтобы собрать в амбары урожай, и оказалось, что Голос наказал их, забрав половину скирд на небо. И когда люди молились, Голос отвечал им: так будет всегда...»

* * *

— Забирая у нас часть урожая, вы оставляли взамен орудия, — сказал Лог, понявший в рассказе Ярина лишь суть, но не детали.

— Да, — кивнул Ярин. — Орудия, которые вы не могли сделать сами, ведь у вас нет литейного производства.

— Нет чего?

— Мы для вас боги, могучие, бестелесные и громогласные, — вздохнул Ярий. — Вы для нас братья, которым мы не в силах помочь прежде всего потому, что вы в нашей помощи не нуждаетесь, вы отвергли бы ее, не поняв. Вы счастливы, как ни странно. Вы глупо счастливы, ничего не зная ни о себе, ни о мире. Что нужно человеку для счастья? Скудости воображения и уверенности в том, что счастье достижимо. Туман незнания скрывает от вас мир. Туман просочился и в ваши мысли. Отделил мысли одну от другой, отучил связывать мысли в цепочки рассуждений. Вам достаточно того, что у вас есть. У вас просто нет воображения. Туман. Проклятый туман...

— Может, это и к лучшему? — пробормотал Лог. Он подумал о матери, о малышах, о Лене и Лепире, обо всех сразу, как-то одним взглядом охватил всю свою жизнь и жизнь селения под этим новым для него углом зрения. — Вот вы, Ярин, не утратили способности стремиться к тому, чего у вас еще нет. И я хотел... хочу того же. Оранжевого тумана. А теперь, когда я знаю, что это глупость, я хочу еще большего. Я не могу это описать, мне

кажется, что я сейчас хочу так много, что лопну от нетерпения. И так тоскливо. А они счастливы. Те, кто остался в тумане. Значит, им лучше, чем вам... нам.

Ярин помолчал, глядя Логу в глаза.

— Ты хотел бы вернуться вниз? — спросил он. — Жить, как живут другие... Вот видишь. Это прекрасная болезнь разума — желание знать и уметь. Как и всякая болезнь, она мучительна. Но если ты излечишься, твой разум угаснет. К счастью, эта болезнь неизлечима. Но вы так редко болеете...

— Путешественники, — сказал Лог.

— Это лишь легкая форма болезни, — сказал Ярин. — Не сон разума, но еще и не явь. Это дрема, пробуждение. Неясное ощущение неудобства, влекущее чувство таинственности мира.

— Откуда вам столько известно о нас? — спросил Лог, уже догадываясь о том, каким будет ответ. — Вы ведь никогда не приходите к нам?

— А ты, Лог? — улыбнулся Ярин. — Путешественников мало. Они уходят в туман. Собственно, так в вашем мире происходит обмен информацией между селениями. Как письмо без ответа... И среди тысяч Путешественников находится один, который смутно понимает, что поступать нужно совсем иначе. Это люди с воображением. Они приходят к нам. Нет, прилетают. Они открывают закон теплового расширения или, как ты, Лог, наполняют шаг легкими газами. Таких людей очень немного. И среди этих немногих лишь считанные единицы за прошедшие столетия сумели сохранить рассудок, когда туман неожиданно рассеивался и они видели, что мир огромен. Видели далекий горизонт, вспаханное ветрами поле тумана, а над собой — то, что и для нас пока недостижимо далеко: солнце, луну, планеты, звезды... Разум, только что проснувшийся, не в состоянии выдержать подобное испытание. Но случаются исключения. Последний человек снизу пришел к нам семьдесят девять лет назад. Он давно умер. Такие люди быстро сжигают себя, их мозг горит неистовым желанием узнать и понять... И вот теперь пришел ты, Лог.

Слушая Ярина, Лог смотрел в сереющий проем окна. Тьмы уже не было, но не было еще и света. День нарождался, и Лог потянулся к окну. Ноги повиновались

ему, хотя комната и качалась перед глазами. Но шаг был сделан. Второй и третий. Опираясь на плечо Ярина, вцепившись пальцами в подоконник, чтобы не упасть, Лог смотрел перед собой в мир, явившийся ему от горизонта до горизонта.

Дом стоял над крутым обрывом. Ослепительно белый ковер лежал внизу. А небо вокруг полыхало алым, оранжевым, желтым, всеми оттенками, и что-то зарождалось между туманом и этой непредставимой красотой игры света. Что-то более яркое и слепящее, чем пламя.

— Восходит солнце, — сказал Ярин. — Идет день.

Лог отшатнулся. Мысль о том, что он сейчас умрет, была мимолетной и сгорела в пламени восхода. Лог почувствовал это пламя в своей груди.

— Солнце, — повторил Лог. Пламя в груди не гасло, и Лог подумал, что оно останется в нем до самой смерти и будет жечь его и сожжет, наконец, но прежде чем мысль его превратится в угли, он узнает все, что знают эти люди. И больше того, что они сейчас знают.

— Туман засасывает, — сказал Ярин, поняв состояние Лога. — Он гасит пламя в груди. Туман... Он поднимается, Лог. Несколько десятилетий назад извержение газов из почвы вновь усилилось. Туман поднимается, и через два-три поколения... Туман будет здесь.

— Нет! — сказал Лог, ужаснувшись тому, что мгновенно нарисовало его воображение. «Никто, — подумал он, — не должен жить так, как живут люди там, внизу. Никто. Никогда».

— К сожалению, туман сильнее солнца, — грустно сказал Ярин, и Лог подумал, что Ярин уже наполовину погрузился в туман, в свой туман, если смог сказать эти слова. — Чтобы победить туман, мало победить себя. Нужно победить мир. Кто сможет сделать это?

— Я, — сказал Лог.

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Рафаэлович Амнуэль

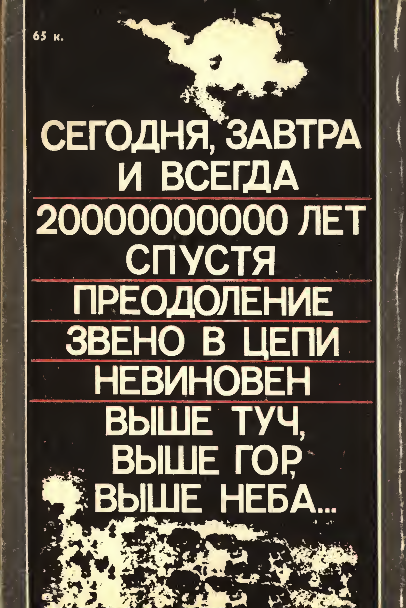
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА

Главный отраслевой редактор В. П. Демьянов
Редактор В. М. Климачева
Мл. редактор Н. П. Терехина
Художник В. И. Пантелеев
Техн. редактор Л. А. Солнцева
Корректор С. П. Ткаченко

ИБ № 6431

Сдано в набор 09.01.84. Подписано к печати 06.06.84. А11962. Формат бумаги 70×100$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура журнально-рубленая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,80. Усл. кр.-отт. 16,0. Уч.-изд. л. 10,12. Тираж 300 000 экз. Заказ 189. Цена 65 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 847719. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.




65 к.
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА
2000000000 ЛЕТ СПУСТЯ
ПРЕОДОЛЕНИЕ
ЗВЕНО В ЦЕПИ
НЕВИНОВЕН
ВЫШЕ ТУЧ, ВЫШЕ ГОР, ВЫШЕ НЕБА...